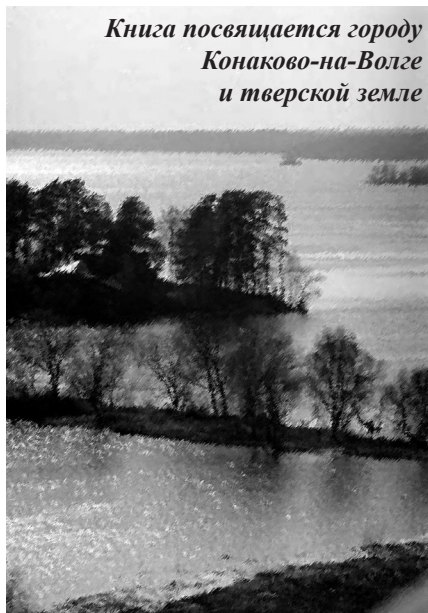


Станислав Медовников

НЕЧЕТНЫЕ ДНИ

*Книга посвящается городу
Конаково-на-Волге
и тверской земле*



Норд-Пресс
Донецк—2011

УДК 82-14
ББК 84(4Укр-Рос)
М 42

Станислав Медовников.
М 42 **Нечетные дни.** — Донецк: Норд-Пресс, 2011. — 224 с.

ISBN 978-966-380-477-4

В этой книге собраны краткие высказывания, стихи,
а также фрагменты из дневников и записных книжек.

ISBN 978-966-380-477-4

© Медовников С. В., 2011
© Норд-Пресс, 2011

Рыба лучше ловится
в нечетные дни.
Эстонская пословица

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге собраны литературные опыты автора, а также дневниковые записи разных лет. Большинство текстов, вошедших в издание, публикуется впервые. Разделение содержания книги на несколько частей произведено по жанровому принципу. При этом не проводятся границы между документальными и вымышленными текстами, ибо все они, хотя и в неодинаковой степени, отражают те или иные состояния внутреннего мира автора. Почти всегда сделанные в разное время и по различным поводам записи сохранены в своем первоначальном облике. Лишь в редких случаях была предпринята небольшая стилистическая правка.

Интереснее всего зафиксировать какой-либо факт, происшествие, внутренний импульс немедленно и непосредственно, к тому же максимально точно и внятно. Разумеется, что это удастся далеко не всегда. В противном случае книга была бы впятеро толще.

Конечно, не каждое лыко в строку, однако отбор происходил с позиций значимости и яркости каждого житейского эпизода, а не по причине совершенства или несовершенства «словесного творчества». Как известно, жизнь — это миг. Точнее говоря, огромное количество «мигов» и мгновений. И все они равновелики и равнодостоинны в череде переменных хлопот. Автор стремился быть честным и правдивым в той мере, в какой это только возможно. Врач должен поставить диагноз, а историю болезни напишет время. Книги зарождаются и собираются в человеческих обменах и диало-

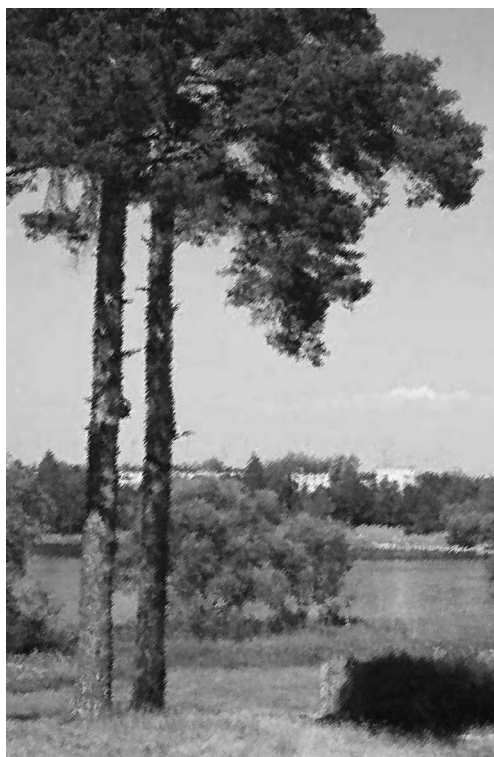
гах, в перекличке глаз, а пишутся в одиночестве. Косноязычный и шальной попутчик может оказаться для нас куда как любопытнее и полезнее, чем велеречивый златоуст.

Самый проблемный и ненадежный жанр — воспоминание. Возвратное движение ума непременно связано с перекосями и «проверками на дорогах». Здесь приходится целиком уповать на память и совесть: первая отбирает, вторая взвешивает.

Автор чрезвычайно благодарен своим многочисленным собеседникам, в том числе (и особенно) молчаливым, всем знакомым (и незнакомым тоже). Их всех хватило бы на то, чтобы населить целый маленький город. (Автор не может удержаться от искушения извлечь это изречение из записной книжки Ильи Ильфа.) Слава Богу, что все остальные «изречения» — мои собственные. И, вопреки знаменитому латинскому афоризму, скорее, судьба «имеет» книгу.

Ergo, мне остается только поставить точку.

ФРАЗЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ



Автор выражает признательность Вячеславу Верховскому за участие в обсуждении этой части книги.



Можно уйти от вопроса, а можно увести его с собой.



Чтобы попасть в точку, надо перестать быть запятой.



Лошади редко ошибаются в людях.



Велика Россия: есть куда послать.



Кладбище — это уравнение такого порядка, где все дальнейшие преобразования уже ничего не меняют.



Не в деньгах счастье, если их мало.



Мимо меня прошла жизнь. Я окликнул ее, но она не оглянулась. Она ушла к другому.



С точки зрения точки двоеточие — это разврат.



Не доводите меня до совершенства.



Как много надо не знать, чтобы понять хоть что-нибудь.



Жизнь — это, конечно, мелочь. Но это наша последняя мелочь!



Хочется всего и сразу, а получается ничего и постепенно.



Не все боги в искусстве: на одного Аполлона приходится четвёрка лошадей.



В жизни всегда есть место подвигу. Жаль, что времени не хватает.



Выходя из одиночества, оглянитесь: не идет ли кто за вами следом.



Уходя из морга, пожелайте всем доброй ночи



Вырываясь из заколдованного круга, тут же угодил в замкнутый.

Станислав Медовников



Конец света еще не означает начала тьмы.



В рамках дозволенного невозможно стать великим.



Пропала собака. Примет нет, так как они пропали вместе с собакой.



Никогда не бывает так, чтобы стало так, как было.



Малый театр, конечно, может подрасти, но он никогда не станет Большим.



Даже снежная баба растает, если ее долго гладить.



И какая крыша не любит быстрой езды.



Обиды лучше сразу глотать, чем долго пережевывать.



В эту голову приходят мысли, незнакомые с другими головами.



Заявление: *пропавшую у меня совесть прошу считать недействительной.*



Живопись — зеркало, музыка — окно.



Молитва — это хорошо организованный и сосредоточенный наезд на Бога.



Если из моих замыслов вычесть домыслы, то смысл сократится до умысла.



Природе можно подражать, но нельзя научиться.



Убеждение — это окаменевший краешек веры.



Возраст — это тот зонтик, который нельзя оставить в прихожей.



Туман — это воздух, который опустили в молоко.



Он рвался ничего не делать.

Станислав Медовников



Бегущие по волнам финишируют в луже.



Лай — это речь собаки и внутренний голос человека.



У чаши терпения не бывает краев.



Если чудо существует, то оно возможно.



Первая любовь приходит слишком рано, последняя — слишком поздно.



Юмор — это передний край ума и задний проход мысли.



Никто не занимает очереди за смертью, но стоят в ней все.



Наполеон бывает только первым.



Хорошо, что упала стена, да не за что стало держаться.



Займитесь своим делом, пока вас не приставили к чужому.



Одиночество — это крепость, которую штурмуют изнутри.



Зачем доставать из-под земли, если все равно придется закапывать.



Работать над ошибками — значит доводить их до совершенства.



Лицо есть зеркало души и окно сердца.



Встал — за правое дело, сел — за левое. Так и жизнь прошла — пора ложиться.



Прислушивайся к себе, пока к тебе не прислушался кто-нибудь другой.



Время течет в одном направлении, но в разные стороны.



Зрелость — это отвердевшая искренность.



Если вам встретилось заблуждение, будьте внимательны, истина где-то рядом.



Экспромт — это не состояние готовности, но готовность к состоянию.



К точке нет вопросов. Все претензии — к запятой.



Одни делают себя из ничего, другие ничего из себя.



Я иду от себя — к себе. Другой — мостик на моем пути.



Если вы увидели во сне собственные руки, скорее унесите ноги.



Только живые знают, как трудно быть мертвым.



Вера — это предательство свободы.



Выходя в люди, не забывайте о человеке.



От себя не уйдешь, но можно спрятаться.



Контрабас — носорог оркестра.



Мы любим тех, кого выбираем, но не выбираем тех, кого любим.



Акварель — это шёпот красок.



Мода произошла от обезьян, а человек — от человечества.



Любовь — продукт скоропортящийся. Длительное хранение возможно только на большой глубине.



Время — это сумма возникновений и исчезновений.



Мир хижинам, война дворцам, ларькам — крыша.



Живые одиноки все вместе. Каждый мертвый замурован в свое одиночество отдельно.



Если тебя стало слишком много, уходи в себя.



Главное направление женской моды — снизу вверх: все выше, и выше, и выше.



Юность неповторима, старость непоправима, смерть неотвратима.



Любовь — это усиление каждого мгновения бытия в 1000 раз.



Смерть пишет свои заметки на полях вечности.



Лицо — это откровение, которое человек повсюду носит с собой и предъявляет первому встречному.



Молодость — это примерка.



Лучше исчезнуть из чужой жизни, чем из своей собственной.



Жизнь — это укрощение строптивых.



В человеке все должно быть...



Природа учит нас одиночеству.



Смерть — это такой промежуток, когда сюжет вашей жизни становится судьбой.



Случай — король ситуации.



Душа — это характеристика того места, где тело встречается с духом.



Любовь — это воспаление веры.



Поиск — это длинный ряд ошибок на пути от одного заблуждения к другому.



Школа — это китайская стена ограничений.



Жить надо перебежками от одной иллюзии к другой.



Следует так ничего не сказать, чтобы все было ясно.

Станислав Медовников



Одиночество — это камень, не лежащий ни на чьём пути.



Я уже не мальчик, но еще и не девочка.



Путь к совершенству — это вычитание случайностей.



В любви нельзя выбирать, но можно стать избранным.



Бог всегда верит в человека, а человек в Бога — от случая к случаю.



Сон — это путешествие души между духом и телом.



Целое совершенно и законченно. В нем нет развития и жизни. Целое может уцелеть, только распавшись на части.



Наряду с этим он был еще и вместе с тем.



Искусство — это игра, правила которой создают и меняют в ходе самой игры, и никто этих правил не знает.



Много тумана напустили вокруг дыма отечества.



«Неужели я последняя?» — подумала капля. И упала.



Капли, словно женщины, тянутся одна к другой: вместе падать легче.



Многие хотят узнать место, где они будут падать, но никто не ищет на карте бытия точку подъема.



Старик — это далеко продвинутый человек. Так далеко, что становится страшно.



Деньги не пахнут, если их не ворошить.



В человеке не все должно быть. Кое-что лишнее.



Служить рад. Дослужиться не могу.



Подтолкни падающего, но не пинай его ногами.

Станислав Медовников



Когда счастье вернулось ко мне, я его не узнал.



Не мы занимаемся любовью, а любовь нами.



Нельзя вернуться туда, откуда не уходил.



Превращение — это только первый этаж преображения.



Если яблоку негде упасть, значит кто-то уже сидит на его месте.



Гоголь оставил русскую литературу с носом.



Рожденным ползать птичий грипп не страшен.



Жизнь — это расставание, а смерть — собрание.



Всей истины никто не знает, а на части она не делится.



Жизнь — всегда лишь часть самой себя, ибо целая жизнь — это уже достояние кладбища.



Объятие — это обобщение одного человека.



Переверните мне мир, и я найду вам точку опоры.



Лучше голая правда, чем плохо одетая истина.



Это хорошо, но лучше, если бы не было хуже.



Лучше неуёмные объятия, чем необъятые объёмы.



Время приходит, годы уходят, часы идут.



Кладбище — это место такой встречи, на которую невозможно опоздать.



Жизнь прошла, оглянулась и сказала на прощание: *какой же ты, однако, дурак, братец!*



Женщины, которые ничего не понимают в мужчинах, бывают особенно ими любимы.



Память без любви — это пустыня, а любовь без памяти — следы на песке.



Женщина — это обещание. Природа женщины помещается между наслаждением и сожалением.



Любимый вопрос наших соотечественников: кто последний? Первые никому не интересны.



Самая извилистая в мире линия — это линия разделения добра и зла.



Сначала время умирает в человеке, затем человек умирает во времени.



Юность — это готика души.



Когда погода окончательно испортится, ее называют климатом.



Несите вашу ответственность куда-нибудь подальше.



Вера, надежда, любовь, преданность — это только разные способы утраты свободы.



Когда Россия спит — природа отдыхает.



Он пришел с чайной ложкой туда, где все уже сидят со столовыми.



Что-нибудь произойдет, если ничего не случится.



Не ищите смысл. Он сам вас найдет, если захочет.



Хорошо быть лучшим. Но лучше — избранным.



Лысина — это идеальный фон для воспоминаний о прическе.



Памятник — это часовой на границе времени и пространства.

Станислав Медовников



Фикус постоянства никогда не расцветает.



Серебро — это упущенное золото.



В зоопарке звери — зрители, а в цирке — актеры.



Правда глядится в зеркало, а истина смотрит в окно.



Никогда не испытывает недостатка в строительном материале тот, кто строит воздушные замки.



Через точку зрения проходит линия разлада.



Солнце, конечно, светит всем, но кое-кому оно светит дополнительно.



Мимика — грамматика лица. Взгляд — прямая речь.



Безопаснее всего критиковать крупные системы. Например — Солнечную.



Кроме как в люди, человеку и выйти некуда.



Народ молчит, но изворачивается.



Кинематограф родился немым, как все нормальные дети.



Память — это мост через разлуку.



Время — это то, что можно выкроить, но нельзя заштопать.



Несноснее всего невыносимые люди, особенно, если они покойники.



Одним — «до», другим — «за», а третьим — уже после.



Состарившись, крылатые слова становятся ходячей истиной.



Смерть — это зеркало, заглянув в которое человек уже не может отвести взгляд.

Станислав Медовников



Смерть — это возвращение



Правое дело невозможно совершить одной левой.



У денег и дураков не бывает выходных.



Для кондуктора все пешеходы и безбилетные пассажиры — лишние люди.



Выходил к людям, а ушел в народ.



Х сначала вышел в люди, а потом зашел к народу.
— Ты чего мечешься? — спросили его.
— Ищу человека, — ответил Х.



Как всегда счастье привалило не вовремя. Жду, когда отвалит.



Мудрость — это постоянство ума.



Химера — это дико растущая иллюзия.



Кумир — это избранный деспот.



Смерть — дело житейское.



Зеркало сторожит пустоту, хранит химеры, вспоминает о небывицах, репетирует молчание.



За любым высказыванием стоит громада невысказанного.



Любовь занимает только первую линию. Ревность — все остальное.



Не говорите о любви. Если она большая, ее и так видно, если маленькая, то и говорить о ней нечего.



Где же проходит та черта, за которой нет уже больше никаких черт.



Собаки — это последние ангелы, которые остались на земле и не покинули человека.



Кадры решают все. Потом приходит и их черед.

Станислав Медовников



Любовь — это политика женщин.



Имя — это клятва в верности и мольба о спасении.



Грусть — это одно из имен расставания.



Искренность — это роскошь нашего сердца.



Жизнь — это прихожая, где люди ждут свидания с Богом.



Ревность — тысячеглазое чудовище.



Не оскорбляйте ваши мысли поспешностью их высказывания.



Боль — это колодец, дно которого — отчаяние, а стены — безысходность.



Культура — это сумма контекстов.



Слезы — знак перемен, смех — признак устойчивости. Люди жаждут покоя. Потому смеются они чаще и охотнее, чем плачут.



Ирония — это нерешительность сердца.



Равенство и братство — пасынки свободы.



Обращение — это предисловие к признанию.



Искренность — самая трепетная часть истины.



Счастье предполагает такую полноту бытия, которую уже невозможно умножить.



Не все актуальное подлинно, но все подлинное — актуально.



Между своим и чужим всегда стоит другой.



Крепость одиночества: круговая оборона при отсутствии осады.

Станислав Медовников



Бог — это предел наших допущений.



Самое лучшее из всего, что мы можем, это противостоять худшему.



Совесьть — это послесловие.



Язык умирает в речи и возрождается в молчании.



Все, что прошло, становится прошлым, а то, что стало прошлым, уже никогда не пройдет.



Первый снег — возвращение нежности.



Ревность — это любовь, утратившая веру.



Любовь — это теорема, которую нужно доказывать каждый день.



Краткость — это привилегия умных.



Пожар и наводнение в одном флаконе.



Жизнь — это репетиция, смерть — премьера.



Старость — это нескорый поезд, который неуклонно приближается к своему последнему опозданию.



Меня хватает только на то, чтобы ничего не хватать.



Плох тот пустяк, который не мечтает стать вздором.



На пути от человека к человеку толпятся люди.



Почерк — это отчаянный танец сердца на белом листе бумаги.



Пустота — это шанс для прекрасного.



А для кого-то первый снег становится последним.

Станислав Медовников



И вечность вглядывается в нас собачьими глазами.



Писать надо так, чтобы читатель, взяв книгу в руки, не схватился за голову.



Никто никуда не спешит, но все торопятся.



Выживают все вместе, а умирает каждый в одиночку.



Музей — это единственное кладбище, где мёртвые смотрят на живых.



...вышел из безвестности, посмотрел вокруг и побежал обратно.



У счастья не бывает частей и подробностей.



Когда некоторые становятся многими, всем бывает плохо.



И у времени время от времени случается трудное время.



Деньги проблем не решают, они только увеличивают их количество.



Можно быть немножко живым, но нельзя стать очень мёртвым.



Поэзия — пленница духа.



Голод — это вдохновение желудка.



Любовь — это лучшая часть неизвестности.



Баба-Яга — это Золушка, не ставшая принцессой.



Стиль — это извилистая, тонконаправленная линия, проходящая где-то на стыке между совершенством и воображением.



Каждый человек достоин той шляпы, которую он уже носит.



В обществе локтей стыдно быть коленом.

Станислав Медовников



Мы глядим, чтобы научиться смотреть. Смотрим, чтобы, наконец, увидеть.



Меняю вечную жизнь на постоянное жительство.



Кто не работает, тот не ест... того, кто работает.



Есть много входов во Вселенную и ни одного выхода.



Сознание — это граница между знанием и незнанием.



Любовь — это ультиматум сердца.



Одиночество — это предельная функция пустоты.



Невозможно всегда оставаться человеком. Иногда хочется побыть и чем-то другим.



Природа отдыхала, сев ему на голову и наступив на ухо.



Кризис ускоряет движение всех процессов, которые этот кризис и вызывают.



Надежда — это кратчайшее состояние от первой любви до последней.



Из дневника утопленника: *в одну и ту же воду нельзя войти дважды.*



Счастлив тот, кому вера внушает надежду, любовь дарит веру, а надежда сулит любовь.



Уходя, не забудь развенчать кумира.



К каждому священному писанию прилагается еще более священное предписание.



Страшен не сам ад, а его окрестности.



Одни показывают товар лицом, а другие лицо делают товаром.



Вдохновение — враг изящества.

Станислав Медовников



Одну и ту же книгу нельзя написать дважды.



Все толстые люди одинаково толсты, каждый худой — худ по-своему.



Мы ещё увидим небо в алмазах. Если покажут.



У смерти сроков нет.



Вере необходимы прочные стены, любви — беспредельная высь, а надежде — далёкий горизонт.



Никто не умеет молчать так откровенно, как это делает фотография.



Счастье — неподвижная стихия, а страдание — поток.



Правда стоит на одной ноге. Истина — на двух.



Не наступайте на бабочку моего сердца.



Если человек спрашивает, зачем он живёт, то он уже не жилец.



Интуиция — это косая тропинка логики.



Тяжело жить с людьми, но больше не с кем.



Гламур — это блеск без стиля.



Не заглядывай в моё сердце. Там тебя нет.



Болезнь — это критика здоровья.



Народ состоит из света и тьмы. Власть — только из мрака.



В одну и ту же дверь можно не войти никогда.



Мы страдаем от избытка, которого всегда мало.



Хорошо быть буйным в строго отведенном месте.

Станислав Медовников



Жизнь треплет по плечу, а отдаётся в почках.



Молчание — сердце тишины, а тишина — рубеж молчания.



Поэзия — это неразбавленная жизнь.



Бывает только то, что удаётся вспомнить.



Семнадцать вёсен как одно мгновение.



Всё будет хорошо, пока не станет плохо.



Бог в карты играет, но взяток не берёт.



Часы и время изобрели разные боги.



Весь ужас смерти заключается в том, что она бывает только раз.



У многих не состоялась жизнь, но у меня она как-то особенно не состоялась.



Народ не только безмолвствует, но ещё и дремлет.



Надо жить так, чтобы не было...



С точки зрения четвёртого этажа третий — это предел падения.



Дураки — курорт природы.



Обидно, переплыв море, утонуть в медном тазу.



Чем дальше живёшь, тем смерть становится всё более невозможной.



Путь к желудку женщины лежит через сердце повара.



Молчание — обморок речи.



На задворках памяти зреют шедевры.



Если рыба молчит, это ещё не значит, что ей нечего сказать.



Был бы Сизиф, а камень всегда найдется.



Эпиграф — это дым над трубой.



Тайна начинается с того момента, когда все загадки уже разгаданы и все секреты раскрыты.



Гордость — это уставшая ненависть.



Сон — это рубеж, на котором душа приближается к точке последнего исчезновения.



Правда — это совесть истины.



Способность к самозабвению — пробный камень любви.



Истина — дочь отчаяния и сестра безрассудства.



Искренность — душа признания.



Как бы плохо ты ни думал о людях, они непременно дадут повод думать о них ещё хуже.



Любовь — это открытие истины со стороны сердца.



Почерк — это компромисс между характером и душой.



Жизнь — это последняя ступенька перед смертью, а смерть — первая остановка после жизни.



Смех — это прыжок через пропасть условностей.



Талант — это уровень наших представлений о пределе наших возможностей.



Смерть — это попутчица времени. Время — проводник смерти.

Станислав Медовников



Будущее — отечество пророка.



Лес настоящего мешает нам увидеть деревья будущего.



В памяти люди только пребывают, а в воспоминаниях живут.



Вырвавшись из заколдованного круга, постарайтесь не попасть в замкнутый.



Поставьте любовь в темный угол, и он станет сияющим центром.



Гордая полячка стала весёлой полькой.



Правда — частица веры.



Любая звезда — это чья-то точка зрения.



Душа человеческая — это место бесконечной борьбы между отчаянием и надеждой.



Уходя из дома, посмотришь в зеркало... Может быть лучше остаться?



Время — это слепой великан на коленях.



Жизнь — ставка, смерть — отставка.



Без вести пропавшее время.



Платоническая любовь — это чай вприглядку.



Самые верные наши друзья — собаки и кладбища. Они будут ждать нас до последнего часа.



Вера — это теория любви, надежда — практика.



Поэзия — это вечный заговор против здравого смысла.



Метафора — это точечное попадание.

Станислав Медовников



Поэзия — союз тонкости и точности.



Одни поэты идут от речи, другие — от языка.



Язык — это место встречи всех.



Подтекст — подземная дорога мысли.



Мир погибнет от сравнений.



Язык — это сон речи.



Речь — утечка языка.



Язык живёт в речи и умирает в словарях.



Язык — музей речи, а речь — театр языка.



Язык — это тюрьма, в которой мы рождаемся и умираем.



Талант — это то, что можно иметь, но нельзя получить.



Стиль и жанр состоят в браке по расчёту.



Вера обращает нас к прошлому, надежда открывает путь в будущее, любовь наполняет нас настоящим.



Плач — это полёт души в небе надежды.



Раз в году и жареная утка может взлететь.



Нельзя расстрелять наполовину и полюбить на четверть.



Язык — это климат, а речь — погода.



Из слов песни не сложить.



Бесполезно таскать прошлое за волосы:
надо стричь будущее.

Станислав Медовников



Уйдя из мира животных, люди заблудились на пути к человеку.



Попробуйте запереть дождь в ванной и спрятать бурю в сундуке.



Не ТЮЗ, а ТУЗ — театр умного зрителя.



Зимой и сволочи холодные.

СТИХОТВОРЕНИЯ



* * *

Д. М.

Звезды долго живут,
Век собачий гораздо короче.
Во Вселенной всему
Обозначен свой срок и конец,
Светлый день неизменно
Стремится в объятия ночи,
Мир зелёный главу
Подставляет под скорбный венец.
Сердца взлёт непременно
Сменяет усталость,
Щедро бросит судьба
Нам свой жемчуг из полной горсти,
Коль счастливых годов
Наберётся какая-то малость,
Все столпились они
От шестнадцати до двадцати.

* * *

Елене Морозовой

За Окой, за лесами сплошными,
Где еще уцелело зверьё,
В светлом мареве дремлет поныне
Неразменное счастье моё.

Тяжело отвалив от причала
В темень ночи уйдёт пароход.
От меня здесь осталось так мало —
Дом, сосна и угрюмый народ.

Здесь встречается Север с Востоком,
Здесь изба посредине болот,
То ползком, то по жёрдочке скоком
Только самый фартовый дойдет.

Из-под клюквы, уныло лежащей,
Словно правды последний исток,
Бьёт фонтанчик воды настоящей,
Как сказание, каждый глоток.

* * *

Вода присела на ступени,
И долго думала она:
Куда ей течь, в какие сени,
Какая участь ей суждена.

Уже темнеть снаружи стало...
И томный голос издалека
Шептал ей: «Там, за перевалом,
Течет великая река».

* * *

На крутом повороте мечты
Неумышленно и внезапно
Вдруг увидишь нечаянно ты
В стороне, где скрывается Запад,
Жизнь свою с перебитым крылом.
Вдоль судьбы она кружит и вьется.
И поднимется сердце орлом,
И, быть может, назад не вернется.
И смутится душа, и поймет
Расставания тонкие знаки.
И никто нас на свете не ждет,
Кроме женщины и собаки.

* * *

Наташе

Я сегодня доверчивей стал,
Я сегодня ушёл от погони.
Рыжий клоун меня обнимал,
Белый клоун мне плакал в ладони.

Через сцену и через вражду
Проведу я тебя осторожно.
Эту первую в небе звезду
И тебя не любить невозможно.

* * *

От многих бед меня спасала память,
Февраль снегами ласково укрыл.
Из Кенигсберга птичьими глазами
Мне улыбался Кант Иммануил.
И белый свет ко мне склонился низко,
И тихий ангел взял судьбу мою.
Все было далеко, все было близко...
И жизнь моя стояла на краю.

* * *

Рано утром дрогнуло окно,
Стая птиц легко вспорхнула с краю,
Как недавно или как давно
Мы с тобой расстались, я не знаю.
Время тихо падало в траву,
Ангел встречи не вернулся с битвы.
Лишь одно я имя назову
Шепотом и только в час молитвы.

* * *

Что-то серое, синее, красное, черное,
Невесомых небес кружева,
И беспечное сердце, как рвань подзаборная,
Что-то там напевает, забывая слова.

Тонких шорохов, легких касательств
Накопилась изрядная часть,
И не надо уже никаких доказательств,
Можно только от счастья пропасть.

Соберем, наконец, все свои откровенья,
Из любовных записок составим букет
И сожжем, и уйдем ради новых мгновений.
Ты и я. И другой вероятности нет.

* * *

Искусство встреч и расставаний
И мастерство больших разлук.
Жизнь — это только ряд касаний,
Мгновенных разниманий рук.

А сердце ноет, как калека,
Идешь, не отрывая глаз.
И если встретишь человека,
То только раз, один лишь раз.

* * *

Белая лошадь танцует вальс-бостон,
Синие чашки на полке чуть-чуть звенят.
Всё продолжается мой удивительный сон,
Будто идём мы с тобою через заброшенный сад.

Нас провожает неслышно чудак-листопад,
Серые птицы над садом кричат невпопад,
А по окраине неба легко ускользает заря.
Счастье вернулось к нам в первые дни ноября.

Скоро нагрянет зима к нам по белым полям,
Но не рассорит и не расколется нас напополам.
Сон продолжается мой, и в убранстве зимы
С хлопьями снежными в вальсе закружимся мы.

* * *

Я чувства удержу в одной горсти,
От речи чуждой мой не дрогнет рот.
И в одиночество легко мне перейти,
Как летом речку переходят вброд.

Не позову друзей издалека,
Не упаду ещё на этот раз,
Но где-то в мире быть должна рука,
Которая моих коснется глаз.

* * *

На берегу, где ты вчера стояла,
Уже густая выросла трава,
А я тебя любил ещё так мало,
Любовь моя совсем ещё нова.
И будто ты бежишь по переулку,
С себя срывая бусы и платок...
Ты помнишь ту последнюю прогулку?
Мы шли с тобой куда-то на восток,
И вот уже мы сели в красный поезд,
Потом — туман, леса и сны, и сны.
Лишайники стояли нам по пояс,
И кто-то крикнул вдруг со стороны:
«Свершилось!» А в окно стучали капли.
Вся в белом ты стояла на крыльце.
И мы с тобой смеялись, пели, плакали...
Сияло счастье на твоём лице.

* * *

Шумит вечерняя вода,
А небо — как одно касание.
Любовь приходит с опозданием
Иль не приходит никогда.
Но если ты пришла однажды,
Не отступай от этих врат.
С тобой любовь всегда, как жажда,
Немереная, как закат.

* * *

Каждое пятое дерево желтое,
В темных оврагах стояла вода,
Вместе шагали живые и мертвые,
Чтоб не расстаться уже никогда.

Ночь укрывала их тьмою и шорохом,
Утро для них собирало букет,
Осень дарила им целые ворохи
Палой листвы, как последний сонет.

Сумрак седой изготовился к бою,
Белый наряд примеряла зима.
За руки взявшись, бежим мы с тобою
Сквозь непогоду туда, где дома.

* * *

На сгибах эпохи пылинки дорог
Непройденных, неисследимых.
Не ступит никто на заветный порог
Без пропуска от любимых.
Давай убежим за луга, за леса,
За мост и за синие воды,
Туда, где остались еще небеса.
Построим там дом...
Нам свои чудеса и
И тайны откроет природа.
Затопим мы печь
И в веселом огне
Все беды сожжем и напасти.
Никто не узнает о той стороне,
Где мы сбережем наше счастье.

* * *

Я не знаю, когда я уйду,
Где мне место уже уготовано.
Лишь бы знать, что в вишневом саду
Ждешь меня ты, как цепью прикована.
Жди и верь. Я вернусь обязательно
Тихим шепотом, голосом птиц.
Без тебя вся земля — только вмятина,
А с тобой — благодать без границ.

* * *

По всем направлениям и адресам
Сентябрь разметал свои счета и сметы,
И осени первая полоса
Выходит на сцену под аплодисменты.
Нахмурился запад, темнеет восток,
Лохматые тучи над нами нависли,
И теплого лета последний росток
Не хочет никак уходить за кулисы.

Ноябрьский вальс

Осень уходит,
ноябрь за собой уводя.
Снег подступает к окраине —
больше не будет дождя.
Лишь облака не меняют характер:
кочуют и ткут.
Солнце выходит
всего на пятнадцать минут.

Поезд раздвинул туман
и пришел на вокзал,
Ты ничего не сказала, и я
ничего не сказал.
Чайные ночи, как обморок,
краткие дни,
Но сквозь разлуку нам
встречные снятся огни.

Бродит ноябрь, как слепой,
по пустынным дворам,
Все-таки сердце нельзя
поделить пополам
Жди меня там, где сирень
бушевала весной.
Душу тебе я оставил,
и нет у меня запасной.

* * *

А утро уже рассыпáлось в лучах,
Шныряло вокруг как попало,
И в карих твоих отражалось очах,
И пряталось под одеяло.

А ты улыбалась... чуть-чуть холодна,
Распахнута и недоступна,
И в мире июньском была ты одна,
Такой же красивой, как утро.

* * *

Влюбленные женщины, совсем как пони,
Такие ласковые, такие преданные,
Они как будто упали с неба
И пьют доверчиво с ладони.

Они слезами плачут крупными,
Сердца их трогать нельзя руками.
Их имена — большими буквами
Под облаками и над веками.

* * *

Непреклонный гений утра...
Шорох ветра, шум волны.
Я пришел к тебе, как будто
С незнакомой стороны.
Влага глаз твоих соленых
Заискрится, как топаз.
Демон тайных, Бог влюбленных
Укрывает небом нас.

* * *

Господь — залог, судьба, как синтаксис,
Душа — глагол, а жизнь — предлог.
И далеко в пространстве синем —
Любовь, молитва и урок,
И бесконечное скольжение
Среди наречий и частиц.
Единственное возражение —
Преображение наших лиц
От первого и ко второму,
А третьих лишних нет у Бога.
И вновь манит меня дорога
Уже к последнему парому.
Но сделать не могу ни шага,
И расставаться нету силы.
Удерживает, как присяга,
Как нежный звон, твой голос милый.

* * *

Ошибки сна стирая губкой,
Другой рукой пишу строку,
А за окошком две голубки,
Как лошади на всем скаку.
У быстрых снов — неясный почерк.
И там, в колодца глубине,
Слагается высокий очерк,
Где ты тоскуешь обо мне
И терпеливо ждешь у края
Необозримой чаши вод.
А я к тебе плыву, не зная,
Что с нами Бог и небосвод.

* * *

И стало тесно августу уже
В блистательной своей опочивальне,
И закричал сентябрь на вираже,
Свой начиная путь многострадальный.

А глаз твоих осенний поворот
Заставит сердце яростно забиться.
И загудит взволнованно народ,
И облака, и листопад, и птицы.

* * *

Был вечер, ты и я.
Текли минуты,
Как кровь с лица.
И ворон наблюдал,
Как будто бы с крыльца,
Как будто бы за нами.
Стоял сентябрь в дверях,
И кто-то нам сказал,
Что будет с нами то,
Чего хотим мы сами.
А вечер созревал,
Из тьмы шинель соткавши,
Вдруг зазвучал хорал
О всех живых и павших.
А мы как бы во сне
Пересекли с тобой
Полоску света
И непонятно где
Прошли по стороне.
В кромешной тишине
Остались мы вдвоем
По ту или по эту.

* * *

Живя в окрестностях мечты,
Все женщины — всегда невесты.
Сотри случайные черты,
И прелесть станет общим местом.
Вся сотканная из добра,
Из перемен, из откровений,
Она — поток, она — игра
Непредсказуемых мгновений.

* * *

Ты впадаешь в меня, как река,
И течешь, и уходишь глубоко.
И не знаю тебя я пока
Всю — от устья и до истока.

Лес высокий шумит за горой.
Приютился там пряничный домик.
Тихо плачет и ждет нас с тобой
Наш любимый, наш маленький гномик.

* * *

Ночь вырастает, как трава,
В щелях надсадно воеет ветер.
Моих сомнений острова
Резвятся, как шальные дети.

Судьба столпилась за окном,
Как будто для последней драки,
Но он со мной, мой старый дом,
И сердце, ждущее атаки.

Ты только руку протяни
Сквозь эту ночь и через годы.
Ты только пристально взгляни
В глаза, как в зеркало свободы.

* * *

Мое терпение до края
Достигло и не оглянулось,
Так и страна моя родная
Ушла и больше не вернулась.

Я ждал ее четыре года,
Потом еще тринадцать лет.
Стояла чудная погода,
И я хотел вернуть билет.

От Бреста до Владивостока
И только. Мне другой не надо.
Как без нее мне одиноко,
Как пусто, коль ее нет рядом.

* * *

Совсем немного, ничего
Не говорите о грядущем.
А сон качнет крылом его,
Не повредит и словом сущим.

А сердце стронется и вот
Уже застонет и затужит,
Как будто туча из ворот,
Из дальних окон рвется стужа.

И если вдруг и без причин
Не хватит нежности и страсти,
Давай немного помолчим
О нашей верности и счастье.

* * *

Рассыпано мелко осеннее золото,
И небо постирано до синевы.
И кто-то кричит откровенно и молодо,
Как будто спасается от молвы.

Но пишет октябрь свои строки печальные
На травах, на водах, на облаках.
А ближние птицы становятся дальними,
И тайнами севера воздух запах.

* * *

Из чаши сна испей и из копытца,
И сердце, как монету, наостри.
И пестрая, как шар, ночная птица
В окно стучаться будет до зари.

Замедленно, как дерево из леса,
Выходит кто-то к самой кромке сна,
А вслед за ним — лиловая завеса
И легкого тумана пелена.

Запомни все штрихи и все приметы,
Рассыпанных подробностей картечь,
И только утро — яростный свидетель —
Вернет нам радость самых первых встреч.

* * *

Пусть этот день, укрытый, как листок
Среди великих листьев вяза,
День незаметный, только не пустой,
И смысл его раскроется не сразу.
Я этот день провел в борьбе с собой,
Я выходил из распрей и из трений.
Стоял июнь, невинно-голубой,
Чуть лето опустилось на колени.
Уж неба край бледнел, как полотно,
Уж вечер подступал к домашним стенам.
Я понял то, что знал уже давно:
Душа к большим готова переменам.

* * *

Я в зеркало смотрю,
Как Вы идете,
Неся куда-то взгляд
Неведомо кому...
Я Ваших глаз боюсь...
В их удаленном взоре
Есть гордость, свет и страсть,
И дальнее сиянье,
И тайное влечение души.
Но Боже мой!
Из этого богатства,
Из этой дивной роскоши небес
Какие крохи бросили Вы мне,
Как певчим птицам мы попутно
Бестрепетно бросаем горсть пшена,
Как будто это
Капли дождевые,
Что высыхают вмиг
Еще в пути с небес.
И все же... какую долю сердца
Вы уступить готовы,
Мне отведя
Хоть малый уголок...
Вот каблочки стучат
Все ближе... ближе...
Я замер весь.
И это даже не семнадцать —
Всего два-три мгновения,
Когда
Стремительно надежда
Вырастает
До верхнего предела облаков...
И, словно камень,
Упадает наземь,
Меня бросая
В пропасть нищеты.

* * *

Еще зимы остатки и обноски,
И снег у Пушкина лежит на голове.
А ты одна, как в солнечном киоске,
Твои глаза, как листья на траве.

Ты ждешь весну,
Она, как скорый поезд,
Спешит из-за туманов и морок.
Вот вырастет трава тебе по пояс
И счастье робко ступит на порог.

Весна накроет стол, разложит кисти,
Потреплет зиму по плечу слегка,
И, словно запоздалые туристы,
Потянутся по небу облака.

Не отвечай — вопрос еще не задан,
Не признавайся — не пришла пора.
Птиц перелетных тучные громады
Кричат всю ночь до самого утра.

* * *

Наташе

Среди полей проходит просека,
Туда, на север и восток.
Душа опять в дорогу просится,
Как к небу тянется росток.

Дорога бережно укачивает,
Врачует ссадины и раны.
И ждут нас встречи и удачи,
Другие стороны и страны.

Одна дорога не закатная,
Другая в смуте и в дыму.
И только третья — благодатная,
Приводит к дому твоему.

* * *

Людмиле Довгаленко

Бессчётных звезд туманный протокол
Не уместить на вырванной странице.
На сердце блажь, когда в душе раскол,
Тоскует рыба, веселятся птицы.

Уже за полдень тихо перешла
Существования большая стрелка.
И ни к чему секреты ремесла,
И надоела не своя тарелка.

И только дерево — надёжный друг,
Немой свидетель прежних поколений,
Непразднично и чуждо все вокруг,
И прочь ушел в слезах последний гений.

* * *

Два ясеня, два берега, два Гоголя
С утра стоят над синею водой.
А я твое лицо ладонью трогаю,
И целый день мы говорим с тобой.
Весна, еще совсем такая ранняя,
Запуталась в оврагах и лесах.
У жизни края нет — она бескрайняя,
Безмерная в глазах и голосах.

* * *

Легко по ступенькам спускается гром,
Гремит и грохочет, заходится в крике.
Я знать ничего не желаю о нем,
А только о Вас, о мой ангел великий!
Вы в черном плаще, развевается шарф,
Волнуется небо и смежные сферы.
Зачем Вы пришли из неведомых царств,
Как вестница счастья, надежды и веры.
Вы скрылись уже, и опять пустота.
Я скомканный воздух хватаю руками.
Зачем нам сердца бередит красота,
Как солнечный зайчик между облаками.

* * *

Весна. Выходит из подвалов плесень,
И кто-то пишет новые стихи.
А между строк лежат поля и веси,
Трубит призывно лось, горланят петухи.

Зачем же эта девочка в веснушках
Берется за гусиное перо,
Забыв о том, что прежде были Пушкин,
Гораций, Гете или Шарль Перро.

Но гром всегда бывает только первый,
Любовь вовек единственно права.
Над тем, кто сам себе остался верным,
Не вырастет забвения трава.

* * *

Тропинка около воды, от церкви
К ней опускались темные ступени.
За дальним лесом сокрушенно меркли
Последние лучи, роняя свет и тени.

Толпились облака, с востока окружая
Небесных ям седую глубину,
И ночи наступающая держава
Вселенную готовила ко сну.

Задумчиво и где-то возле плёса,
Как инвалид, прошлепал пароход,
А времени гигантские колеса
Между миров готовили проход.

* * *

За убегаящей станицей,
За утекающей водой,
За высоко парящей птицей
И за немеркнущей звездой

Слежу восторженно и строго
И глаз не смею отвести.
За далью — долгая дорога
Туда, откуда нет пути.

Покуда длится наважденье,
Пока растет сквозь сон трава,
Не прекращается рожденье,
Не меркнет в небе синева.

* * *

Александрю Кораблёву

Об этом шумели всю ночь тополя,
Молва шелестела и мова,
И даже слегка привставала земля,
Приветствуя Кораблева.

Скучают о нем Патриаршьи пруды,
Примкнувшие к улице Бронной.
И кто-то стоит возле самой воды,
Большой, синеглазый, влюбленный.

Оттуда, где пруд не качает звезду,
Где немые и клятвы, и клики,
По милости высшей однажды в году
Он град посещает великий.

А раннее утро туманно, свежо,
Но мир не боится простуд,
И кто-то решение принял ужо:
Их встреча назначена тут.

Два мастера делят свой большой диалог.
В нем — мысль, и надежда, и страсть.
А первый сорвавшийся с ветки листок
Летит и не может упасть.

* * *

Меня нежно до ворот
Белый ангел провожает,
А другой, что потемнее,
Вдоль по улице ведет.
Меня ангелы хранят,
И Господь не возражает,
День за днем идут вразвалку,
И спешит за годом год.
Но однажды на свидание
Отлучился ангел белый,
Рыжий ангел засиделся
С другом где-нибудь в пивной.
И тогда беда квартальная
Ловко принялась за дело,
А Господь себе устроил
В этот вторник выходной.
Господа вполне приличные
Приготовили носилки,
Даже куры не кудахчут,
До чего спокойный день!
Кто-то поднял спозаранку
Черный флаг на лесопилке.
Жизнь моя простоволосая
Босиком уходит в тень.

* * *

Александрю Брону

Косое солнце, от метафоры
Спасаясь, падало во тьму,
А вечер, прирастая страхами,
Достраивал свою тюрьму.

Закат приноровился к выдоху,
Кладя последние штрихи,
И равнодушные, как выхухоль,
Цвели привычно лопухи.

Природа, распахнувши поры,
Свой сон готовила сквозной,
Часы ночные, словно воры,
Уже толпились за стеной.

* * *

Громада туч спускалась на громаду
Высоких башен, белых колоколен.
Последовательно, неотступно, кряду
Толпа валила, словно дым из штолен...
И удивленных, длинных улиц марши
Бежали долго, прочь, все дальше, дальше...
Шумела моря сытая утроба,
Луна вставала, как мертвец из гроба.
А за оградой чёрные, как готы,
Вороны намечали день отлёта.

* * *

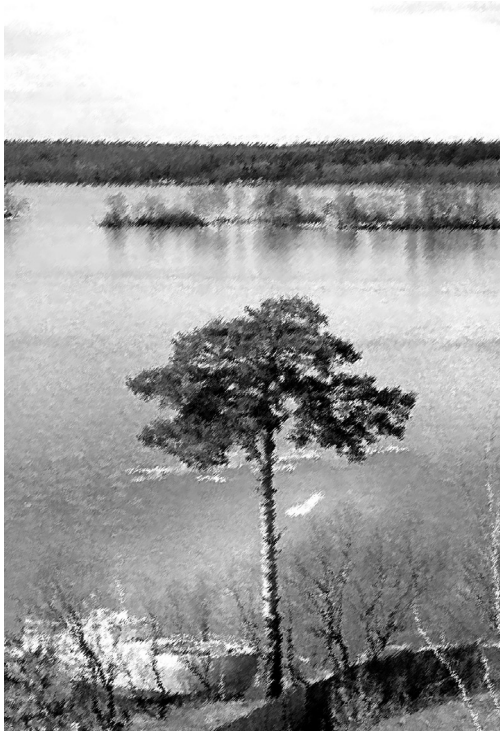
Экспромт-фантазия

Алёне

Трёхпалый свист,
Последний лист,
Свистящий твист
Играет Лист.

Но мимо поз,
Совсем всерьёз,
Вдали от роз,
Среди мимоз,
Меж дальних звёзд
Летит печальный Берлиоз.

КОФЕЙНАЯ ГУЩА





Нет ничего страшнее однолюбюв.



Уж если врут календари,
То рейтинги тем более.



Жизнь трудна и бесконечна.
Смерть мгновенна и легка.



Отечеством дóлжно гордиться, за Родину — умирать.



Не подавайте мне надежду, а дайте Родину продать.



У лужи — океанские замашки.



Во мне себя еще так много.



От человека до лишайника я всю природу полюбил.



Ищите счастье не в своей тарелке.



И тихий, и робкий, как шепот, хрусталь.



А чудо — это торжество свободы над необходимостью.



Поэтом быть — бессрочный праздник,
А критиком — кромешный труд.



Все оперы скучны, кроме хороших.



На свете счастье есть, и воля, и покой.



Так мало от меня осталось.



Я жив, пока несовершенен.



Жить можно «от», а можно «для».



Как сделать так, чтобы ничего не делать.



Только тот себя находит, кому нечего терять.



Когда придет к нам кто-нибудь, пошлем его куда по-
дальше.



Россия — это подвиг бесполезный.



Пройдем по улице любви, по переулкам страсти.



Душа растет, но возраста не знает.



Шел к вере — встретился с любовью.



Чем ниже сословия, тем хуже условия.



Не хочет каждый всякого любить.



У любви — времена, а у страсти — мгновения.



У любви — только первая линия.



Все лучшее от человека,
а все плохое — от людей.



Так мало счастья на земле, что не хватает даже птицам.



Если вы решили падать — лучше с белого коня.



А женщина всегда на грани
паденья, гнева иль любви.



Зачем же мне идти туда,
когда мы только что оттуда.



Хорошо бы что-нибудь придумать,
чтобы сразу плохо стало всем.



У Бога дорог много,
у человека одна — к Богу.



Я повернул бы время вспять —
жаль, что пространства не хватает.



Сначала стоит попрощаться с жизнью,
потом ее помалу начинать.



У поэтов прописных нет скамейки запасных.



А вы спросите у бычков,
как хорошо им быть в томате.



Все ищут истину в раскопах,
никто не ищет в небесах.



У смерти две беды большие:
одна — любовь, другая — вечность.



Система — это вход, а метод — выход.



У черта есть черта и больше ни черта.



Мимо слухи пробежали и уселись на скамейку.



Ах, сколько надо веры и надежды, чтобы дожждаться капельки любви.



Я в ваши воды погружен по самый кончик.



Снег — это искренность небес.



Любовь не знает репетиций и не хранит черновиков.



Любовь и страх не ведают границ.



Если это слишком поздно — все равно, что никогда.



Двадцать лет — девичий цвет, сорок — бабий мóрок.



Игра резвится на границе, граница — повод для игры.



Мысль не нуждается в лампадах.



Водопровод — тюрьма воды.



Правда — наместница истоков.



Мы живем, пока у нас есть проблемы и вопросы.



Счастье — область примечаний.



От великана до мизинца все жаждут счастья и тепла.



А кто там рядом с Заратустрой в плаще в сиреновом
стоит.



Одна лишь глупость без границ, а ум всегда стоит на
страже.



Богатых надо сохранять,
А бедные подохнут сами.



От страха Астрахань застрахана.



И надо вовремя возникнуть,
Чтобы в урочный час пропасть.



Я с Богом состою в гражданском браке.



Все движется в сторону гнили.



Нет ничего на свете
Прекрасней синих глаз.



Когда приходит страсть, кончается дорога.



Мир молодеет, когда идет гроза.



Утроба утром утерлась,
На ель тихонько забралась,
Изобразила оборону
И села ждать свою ворону.



Не выпадая из объятий,
Живет счастливый человек,
Но очень мало вероятий,
Что так продлится целый век.



У сердца не бывает слов,
А только ритм и страсть,
И лишь душа, как змеелов,
Не даст словам пропасть.



Ум не пропьешь,
Талант не скроешь,
Любовь не спрячешь под капот.
И, что положено герою,
Того не знает идиот.



Я жил недавно на этом свете,
Где свежий ветер летит, звеня,
Ворчат старухи, смеются дети,
Сияет солнце, но без меня.



Зовите меня по имени,
Если кто соскучится.
Живите не по линии,
А как получится.



Молчание вдвоем — особый род молчания,
Искусством этим мало кто владеет.



Судьбы, времён, терпения и денег.



Ду Фу ловил на речке раков,
Ли Бо с утра немножко пьян,
Шла по своим делам собака —
Так жил Китай в эпоху Тан.



В России как-то все некстати,
Наискосок и невпопад:
Титан в младенческой кровати,
А вместо похорон — парад.
Дорога, в пустошь уходящая,
Где голо, где сплошная чаща.
Мост, под которым нет реки,
И всюду, всюду дураки.



Придурки состоят при дураках,
Приспешники — при пешеходах.
Влюбленные витают в облаках,
Разлюбленные гибнут в переходах.



В одну туманность завернусь, другой укроюсь
И лягу спать вдоль Млечного Пути.



Обрыдали всю Вселенную,
Обследили Юг и Запад,
Но беду обыкновенную
Не почувляли на запах.



Давайте мысли заворачивать
В обложки пестрые и яркие,
Давайте жизнь переиначивать
И оставлять на ней помарки.



Вселенная, как улитка,
Дома живет взаперти.
И вместе с ним и с калиткой

По Млечному ходит Пути.
Лечит свои нарывы
И прочие там дела.
После Большого Взрыва
В себя еще не пришла.
Тапочки примеряет,
Пуговицу пришьет.
Кто себя не теряет,
Тот ничего не найдет.



Без женской рифмы пропадаю...



А сад наклонился к опавшей листве.



К тебе лечу я золотым дождем.



Ах, насекомые, голубчики,
Вы светочи, не будьте хмурыми,
Не ползайте, поешьте супчика
И повышайте моральный уровень.



Иду по улице — и глядь:
Какая чудная картина —
Коня и трепетную 'лядь
Ведет безрогая скотина.



Нехорошо, когда обед
Пронесут мимо рта.
Но если вы (вдруг) людоед,
То это просто красота.



Вдруг зверь заплачет,
Дитя завоет...
А это значит —
За дверью двое.



Придет козел со сдвигами,
Я поклонюсь козлу.
Теперь моя религия —
Непротивленью злу.



Нет совести и исчезает честь
В отечестве прекрасном нашем архи.
Пророков нет, поэтов тоже нет,
Авторитеты есть и олигархи.



Время дует из подворотни,
У порога лежит, как собака.
Время — это черная сотня
И шальная, дикая драка.



В поле рукомойники
Стынут под луной.
Юные покойники
Полны свежей мглой.



Когда последний из утопающих
За чуб возьмется руками шибкими,
Я утопающим скажу: «Товарищи,
Пора работать над ошибками».



Шел поэт по берегу
И держал кинжал.
Вдруг открыл Америку
И радостно заржал.



Пропавшие без вести и без злости,
Поверенные в делах!
Следующая встреча на погосте
С облаком в штанах.



Где мечта, где паруса,
Где девчонка, о которой
Я мечтал за полчаса
До окончанья средней школы.



Обморок в Марокко
По случаю барокко.
Заболело око.
(*Тонкости Востока.*)



На дворе играет радиола,
Что-то мне цыганка напороочит.
Я — не килька грубого посола,
Я — посыл, посол и сторож ночи.
Ну а ты, прекрасная Лариса,
Покажи с порога мне платочек,
Я из той страны, где кипарисы
Письмецо пришлют тебе из точек.

Станислав Медовников



А эту пару глаз я унесу с собой.



Собаки не умеют говорить,
Они способны лишь любить и верить.

МУЗЫКА





Моцарт — это юность музыки.



Музыка — это язык совершенства.



Моцарт — это сама природа, притворившаяся музыкой.



Музыка — это звучащее пространство между миром и душой.



В музыке — отклик вечности на земные драмы.



Музыка — промежуток, мост между мной и вечностью.



Музыка звучит громко всегда, когда одна эпоха сменяет другую.



Музыка — это разговор с Богом на его языке.



Музыка — это предисловие к вечности и послесловие к жизни.



Музыка — это тоже реальность, но высшего порядка.



Музыка — это обещание, которое никогда не будет исполнено.



У музыки есть одно уникальное свойство: она умеет возвращать человеку все те счастливые мгновения, которые он когда-либо пережил.



Музыка — это побег из вечности в вечность.



Музыка — место рождения всего великого.



Музыка обнимает невидимую часть спектра и сообщает нам о том, что находится за чертой очевидности.



Музыка — это концентрация больших количеств энергии, стянутых отовсюду и сосредоточенных сейчас, в этот миг, здесь, в этой точке.



Музыка — это путь преображения.



Музыка — это ручей времени, бегущий в сторону вечности.



Музыка — самая динамичная часть духа.



Великая музыка создается из самого драгоценного состава наших лучших чувств.



Музыка — это переход. В ней, как в коконе, созревает что-то иное и просится наружу. В музыке плачет кто-то не родившийся, не увидевший света.



Музыка — это нить, которая связывает человека с человечеством. Вдруг что-то выхватывает душу из плена одиночества и уносит ее навстречу волнению и свободе.



Музыка — это дозор вечности, выдвинутый в пространство судьбы.



Музыка — это мир, где царят свобода, любовь и гармония.



Шопен — это уставший Моцарт.



У музыки и у любви не бывает прошлого.



Песня — всегда немножко тайна.



Самое оптимальное — опережающее слушание музыки, когда на долю мгновения ты угадываешь каждый последующий такт до того, как он прозвучит.



Музыка, подобно небу или океану, принадлежит всем.



У музыки и у Бога не бывает выходных.



Музыка обозначает только возможные границы счастья, но не путь к нему.



Больше всего музыка похожа на оживший и зазвучавший сон.



Когда звучит орган, кажется, что кто-то все открывает и открывает двери в мир иной — торжественный и высоко-неподвижный.



Музыка вся возникает из воздуха настоящего. Она не знает прошедшего времени.



Слово примыкает к музыке самой трепетной своей частью, а музыка объемлет слово со всех сторон.



Музыка не мысль, но необходимая и плодотворная среда для ее возникновения.



Простота — подруга песни.



В звуках музыки — голос души, которая просится в запредельный мир из заточения.



Поэзия — это всего лишь отчаянное усилие слова встать рядом с музыкой.



Музыка — это плоскость, на которой линии и точки суть одно.



Музыка — это грандиозно. Но это только часть того языка, на котором говорит душа.



Музыка поддерживает уровень милосердия и благородства в нашем сердце, не позволяя ему опуститься до критической черты.



Музыка — синтаксис души.



Музыка — это судьба, обернувшаяся мелодией.



Музыка — звучащее пространство между миром и душой.



Чувства и эмоции, столь щедро и нерасчетливо рассеянные в мире людей, в человеческом сердце, музыка собирает воедино, вставляет в фокус, доводит до предельной ясности и выразительности, делая их внятными и осязаемыми.



Музыка рождается до слова и продолжается после слова. В беспредельной Вселенной музыки слово — только малый промежуток, узкая полоска сосредоточения перед тем, как заговорит стихия.



Музыка рассказывает о том, что знают все. Но никто не может высказать этого, кроме нее самой.



Музыка, как и любовь, всегда права. Но только в тот момент, когда она звучит.



Когда звучит музыка, время притворяется пространством.



Музыка — это тайное сообщество, тысячью голосов выдающее свои секреты.



Арфа среди прочих инструментов оркестра выглядит, как страус в курятнике или как персидская княжна между донскими казаками.



Живопись — зеркало, музыка — окно.



Музыка — это оттаявшая архитектура.



Иногда для того, чтобы вступить на территорию музыки, надо сойти с ума.



Музыка — это то, что связывает лучшее в нас с лучшим в мире.



Романс — это страстная мольба о счастье или тихая просьба о любви.



Музыка — это слова того языка, который мог бы даровать нам Господь, будь мы этого достойны.



Любые слова можно «положить на музыку». Но они могут и остаться там лежать, как камни на дороге. Захочет ли музыка открыть словам свои жаркие объятия и окружить их со всех сторон своей негой и тайной. Самый счастливый случай, когда слова, как редкие островки в океане музыки, прекрасны в своей незаметной сущности.



Музыка — это сливки того вещества, низменные отходы которого и становятся словами.



В языке есть времена. Время — внешний фактор по отношению к слову. В музыке время — это ее внутренний пульс и сердцевина. Музыка не знает прошедшего времени. Музыка — это театр звуков, только здесь и сейчас. Бывает отзвучавшая музыка, но прошлой — не бывает.



Нельзя положить слова на музыку и сочинить музыку на слова. Песня начинается со слов, уже беременных музыкой.



Музыка — тот образ, тот предел, который Господь задал человеку. Это путь бесконечного приближения к идеалу.



Музыка — это прекрасный сон языка, грезящего о своем совершенстве.



Музыка Баха или Гайдна спокойно проходит вдоль твоего сознания, вежливо приглашая вступить на ее территорию и, не торопясь, обстоятельно осмотреть и увидеть подробно все ее владения, все залы и коридоры, все повороты и уголки. Это музыка ведет за собою, ничего не требуя от тебя, не побуждая к волнению и перепаду чувств. Это не музыка вторжения, а симфоническое приглашение к соучастию.



Музыка, подобно словам, тоже называет предметы, явления, стихии, только на том языке, который внятен сердцу.



Поэзия как скромная просительница робко стоит у ворот, в которые смело, легко и торжественно входит музыка.



История постигает прошлое, но только музыка может его вернуть.



В музыке происходит слияние «я» с всеобщей жизнью, растворение. Это аналог того, что будет с нами потом.



Музыка — это послание свыше, оправдание нашего бытия, залог человеческого величия и постоянства.

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК





Первые буквы вырубали на камне, начертали на бронзе. Затем письменность перебралась на дерево, кожу, шелк, папирус и, наконец, на бумагу. Постепенно слова и целые речения стали терять надежность, прочность, основательность. Но значимо не только то, на чем писали, но и чем. Лучшие тексты начертаны гусиным пером.



Непоследовательность — это привилегия поэзии.



Ссора между тем начинала принимать прикладной характер.



Серебряный закат Российской империи.



Пастернак выбирает синий цвет. Это его личная страсть. И, выбрав этот цвет, лирический герой повсюду ищет синие соответствия. И находит их, и окрашивает в синеву свою мечту, любимые глаза, далекий простор и многое другое. Это сплошное торжество синего. У Николоза Бараташвили синий — это завет, символ веры, зов предков. Грузинский поэт не выбирает и остается верным. У него «синее» не связано ни с чем телесным, жизнерадостно-плотным и ликующим. Синий цвет — это крестный путь, а не праздник и упоение.

(О переводе Б. Пастернаком стихотворения Н. Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет».)



Одна эпоха от другой отличается только набором шуток и популярно-расхожих кличек и прозвищ. На место «шнурка» заступает «чувак», «чувака» сменяет «фраер», ко-

Станислав Медовников

торый в свою очередь уходит, освобождая поприще «лоху». За всеми этими словами стоит все тот же субъект, один социально-психологический типаж.



Лирическое стихотворение — это рука, протянутая на встречу людям. Из проходящих мимо ее пожмет едва ли каждый сотый.



Лирический герой — это испытанный способ консервации чувств и страховка от неожиданностей.

Лирический герой — подобие балетного станка, возле которого можно упражняться, придумывать экзерсисы. Закрепленная и освоенная территория дает надежный лирический привес и приплод. Помимо этого, феномен лирического героя есть еще и добровольный отказ от новых и опасных эмоциональных состояний.



Ребенка сначала донашивают, а потом носят на руках, с женщиной обращаются прямо противоположным образом.



Рано утром уходим с Диком далеко — на бульвар Пушкина. Шастаем между кустами, бегаем по траве: то Дик прячется за деревом, то я. Никого вокруг, мы одни, и я уже перестаю понимать, кто из нас собака.



История литературы — это не склад готовых изделий, а бесконечно меняющаяся картина небес.



На карте поэтических свершений есть касательные и проникающие линии, твердые очертания и пунктиры.



Объявление: *Вывожу прыщи и бородавки. Свожу с ума.*



Несоразмерная и безграничная любовь к Пушкину — характерный пример высокого и яркого бескорыстия русской литературы.



В книге молчания каждая страница белая, но не все пустые.



Взбунтовался носовой платок. Он уже не желает вытирать нос, а жаждет парить в небесах, подобно буревестнику.



Придумал слово «женственница». Теперь необходимо наделить его каким-либо значением.



Диалог — это непрерывная корректировка смысла.



Юмор — это постоянная внутренняя готовность быть умным и свежим. Мгновенно откликаться на всякое движение и схватывать суть.



Человек — случайная удача природы и ее тяжелый крест.



В слове *от-рочество* ощутим мотив отторжения, момент отъединения, рок, отрезающий от детства. Как известно, отрочество — это отрицание детства.



Поэты разделились на группы, на кучки сторонников, на малые корпорации. И между собой они устанавливают свои правила и критерии, свой счет. Антигамбургский. Газетки пишут свою газетку и никого туда не пускают. Театр закрывается ото всех, кроме своих постоянно-простодушных зрителей. Актеры каждый раз повторяют свои наработанные штампы, дрессированные зрители дружно гогочут в тех местах и моментах, где это предусмотрено. Они привыкли к такому распорядку и вполне довольны друг другом. Чужие здесь не ходят. То же самое происходит и у поэтов. Только без зрителей. И критика им нужна исключительно своя, комнатная. Это даже не массовое, а корпоративно-кружковое, хуторянское искусство. Только в пределах одной волости или городского квартала. Новое средневековье. Местечковый реализм. Квартальный сентиментализм.



В некотором смысле поэзия есть несанкционированное собирание любимых предметов, вещей, лиц, предпочтений, даже явлений природы. Сначала создается небо, а под любимым небом можно соорудить уютный милый дом, даже домик. Да, тот самый, который ты рисовал в детстве... Но это лишь одна сторона, одно сказание, скорее иносказание... А на другой день следует встать рано и с недогнутым сердцем разрушить и перевернуть все вверх ногами. Зачеркнуть, забыть и начать строить нечто совсем противоположное. Только таким путем можно приблизиться к той тайне, которую, за неимением других обозначений, называют поэзией.



Однажды на зачете я спросил студентку-заочницу о том, кто автор первой польской национальной оперы. Без малейшей запинки и сомнения она ответила: Монюша Станиславский. С трудом удержавшись от смеха, я сказал очень тихо: Станислав Монюшко.



В спящем Дике совершается какая-то кипучая и таинственная жизнь. Он то и дело вздрагивает, трясется и даже всхлипывает. Через какие миры проносится его трепетная душа, куда устремляется горячее сердце, об этом я никогда не узнаю.



Концепция — это маршрут движения к цели.



Неизвестное всегда больше известного: будь то чувство, знание, житейские обстоятельства, судьба, тайна, иные миры, Вселенная.



Юмор отощал, истончился, затерялся и пропал в дебрях дурацкого смеха и тупого хохота.



Нищета — это выбор свободного человека. Среди рабов нищих не было. Нищета — вызов равенству. Социализм — это бедность всех. Рынок — нищета избранных. Нищих должно быть много, чтобы было кого любить. Нищие — впередсмотрящие, первопроходцы, разведчики. Они предупреждают нас об опасности, указывая на черту, за которой мы можем оказаться.



Цитата — это костыль.



По многоточию, как по мостику, можно перейти из текста в текст, из мира в мир, из судьбы в судьбу.



Как трудно отыскать справедливость в потемках счастья.



Если в театре все, как в жизни, — это реализм. А если в жизни все, как в театре, то это — национальная катастрофа.



Когда мы молчим, природа подходит к нам ближе — на расстояние вытянутой руки.



Среди классиков Чехов был провинциалом.



Сняли гардины с окна, и прищепки, оставшись без работы, сразу стали заметны, представ во всей своей наготе и неприглядности. Они напоминали мертвых птиц, повисших на проводах, а еще — диковинные нотные знаки на линованной бумаге. Казались чужими и уродливыми, как знак беды.



35 лет — первая зрелость, вторая взрослость, последняя молодость.



Смех выбирает тесные и закрытые помещения: полный живот, зрительный зал, полость рта, пустую голову. Превосходно он чувствует себя в клетке, а также за спиной и за стеной. В открытом море, в высоком небе или посреди пустыни не засмеешься.



Между белым округом свободы и черным квадратом трагедии жалобно трепещет синяя ленточка любви.



Сон — это незнакомая дорога, по которой мы идем неведомо откуда и неизвестно куда и на которой встречаем незнамо кого.



Нет ничего более одинокого, чем одинокая лошадь.



В опере, будто в уличной перебранке, одновременно, перебивая друг друга, звучат три — четыре и больше голосов.



Истина — это заблуждение, которому повезло.



Поэт не должен заботиться о том, какая строчка придет к нему в следующее мгновение. Если он нарушит это правило, то его ожидает ничтожество.



Если вы уже согнули меня в бараний рог, то не размазывайте еще и по стенке.



В русском языке глагол «думать» является непереходным. Сколько ни думай, а все равно все твои думы остаются при тебе и ни во что не воплощаются. Правда, существует одно исключение: «думать думу», но это слова связанные.



Искренность в поэзии — внутренняя проблема становления текста. Это область не столько чести и совести, сколько — манеры и художественных пропорций.



Поэт — тот, кто может остановиться в миллиметре от счастья и повернуть в другую сторону.



Следует так расшатать сознание и взвинтить воображение, чтобы стихи выпадали сами, как птицы из гнезда.



В поэзии смысл должен быть внезапным, а внезапность — осмысленной.



Этикет — это нарядный намордник на свирепой физиономии нашего эгоизма. На первых порах он стесняет нас, но потом мы привыкаем к нему. Нас утешает то обстоятельство, что все вокруг ходят в таких же намордниках.



Сдержанность — это гордыня, нарезанная ломтиками.



Каждый раз, когда кончается спектакль, актер выходит из роли и идет домой. Но не совсем выходит и не вполне расстается с ролью — что-то уносит с собой. Однажды спектакль умирает и сходит со сцены, а роль между тем продолжает жить в актере, все больше растворяясь в его клетках и крови.



Печально я гляжу на наше поколение. Лермонтов и Шевченко родились в 1814 году. Если от этой даты отсчитать еще по шесть лет вверх и вниз, то окажется, что в эти годы родились еще Гоголь, Белинский, Герцен, Огарев, Даргомыжский, А. К. Толстой, Фет, знаменитый хирург Пирогов, художник Федотов, Александр II и другие замечательные люди.



Река любви течет между берегами веры, огибая уголок надежды.



Некто постучался во Вселенную и, не дожидаясь, пока откроют, дрожа от нетерпенья, крикнул: «Есть тут кто живой?»



Двадцать второе октября. Ближе к вечеру. В темнеющем уже небе — огромное скопище птиц. Сначала казалось, что они кружатся в совершенном беспорядке. Тем не менее, птичья громада заметно смещается к югу, и вот уже она зависла над крышей дома и стала постепенно пропадать.



Как часто мы говорим: я себя плохо чувствую. И, напротив того, почти никто не скажет: *я тебя плохо чувствую. Не вижу, не слышу, совсем не понимаю.*



Это последнее место, где пребывала на земле любовь. Здесь остался ее след, ее касание и шорох.



...Она не искала слов, они сами находили ее губы и легко, плавно, изящно укладывались в ряды ее речи... единственно верные, точные и убедительные.

(О Майе Плисецкой в телепередаче «Ночной полет».)



Третий день большие птичьи сборы. Большие шорохи и кипез по утрам. Тонкий писк, нежный щебет, низкий гай. А иногда слышны, как будто крики о помощи. Птицы — это самая подвижная часть неба.



Почерк — портрет души и сгусток сердца. Не мы пишем почерком, а почерк — нами. Почерк — лазутчик и орудие подсознания. Почерк — предатель. Он выносит напоказ и выдает наружу все наши тайны и привычки. Жесты и мимика, голос и почерк — это главные опоры нашей самобытности, наши особые и отличительные качества. Их нельзя приобрести, заменить, передать другому. Печатный текст безлик, холоден и равнодушен, а написанное от руки обладает непохожестью и особой доверительностью.

Почерк — это пароль, наша личная метка, голос нашего сердца. Почерк, как норовистая лошадь. Иной раз садишься писать... и желание есть, и мысли в голове. А не пишется... спотыкается рука на каждой букве. Почерк сопротивляется. Он сегодня не в духе. И, напротив того, когда у него мажор, когда он в ударе, в куражном состоянии, то писать становится легко и комфортно. Почерк несется вскачь и влечет за собой мысли.



Белорусы — вежливый народ. Расступились, разбежались, залегли по болотам и займищам, укрылись в лесах, освободили место, уступили стратегическое пространство. И в эти пущи и пустоши устремились немцы, литовцы, поляки, шведы, русские. В бесконечных битвах и сражениях гибли белорусы, но не за Родину, а на чужих войнах, в чужих побоищах.



Мобильный телефон, конечно, полезнее собаки, но, когда мне плохо, он не кладет лапы на плечи, не лижет мое лицо, не скулит от сочувствия. Он тупо и равнодушно молчит, не проявляя никаких чувств.



Если даже остановить все существующие в мире часы, время даже не вздрогнет и глазом не моргнет, и ухом не поведет.



Лучше всего держать лицо в нейтральном, чуть отстраненном состоянии. Для того, чтобы сразу же принять какое-либо характерное выражение, приличествующее случаю.



Воины Чингиз-хана и Батя так и не доскакали до Парижа. А конные калмыки и киргизы — доскакали и взяли Париж (в составе русской армии).



Если до Большого взрыва не было ни времени, ни пространства, то где же состоялся этот взрыв и когда это случилось?



В феврале мне приснилась сирень. Целый ряд темно-зеленых кустов, и только на последнем — маленький красный крестик. Подходит светловолосая женщина, поднимает руку и говорит: «Смотрите, все уже цветет!»

Хочу возразить, но, поворачивая голову, вижу, что все кусты уже запыхали ярко-фиолетовым пламенем.



— Вам плохо?

— Жить не хочется. А так ничего.



Филологи допрашивают язык, уличают его в непостоянстве и пытаются обвенчать язык с речью.



— Все собрались? Кто из вас знает, как устроена женщина? Поднимите руки. Ну, вот — видите! Никто. Это и не удивительно. Как известно, Господь мастерил женщину из подсобного материала, к тому же по дополнительному зака-

Станислав Медовников

зу и свехурочно. А стало быть, вечером при тусклом освещении, будучи уже изрядно уставшим и постаревшим. Да еще и на общественных началах. Самое поразительное, однако, то, что именно таким кустарным способом Творец соорудил свое самое совершенное, не имеющее соответствий в целой Вселенной, создание.

Нам всем необыкновенно повезло в том, что Господь не стер «случайные черты», а, напротив того, взял и выставил их на свет Божий, на всеобщее обозрение. Если вы готовитесь возразить, то скажите, ради бога, откуда же взялись все эти родинки в укромных местах, пятнышки, щербинки, курносые носы, глаза с косинкой, уши домиком, брови вразлет — все те неожиданные сплетения и изысканные отклонения, без которых немислима ни одна красавица. Чужих женщин не бывает, ибо женщины прекрасны, драгоценны и уникальны. Стало быть, они не могут принадлежать кому-либо одному, а остаются всенародным достоянием, национальным сокровищем.



Бесполезно гадать, что лучше: старое дранье или дра-
ное старье.



В идеальном стихотворении устанавливается равновесие между ясностью и загадкой, мыслью и чувством, простотой и сложностью, ритмом и значением.



...За шляпцами не видать дуранду... сплошной вермахт... ушел и поставил меня в неизвестность.

(Из случайно подслушанного разговора.)



...Сны — это пучок... и линии разной длины и отчетливости. Одни линии едва различимы, другие пунктирные, третьи резко изломаны. Почти все они обрываются нежид-

данно и пропадают без следа. Лишь очень немногие имеют таинственное продолжение. Они так же внезапно могут исчезнуть, как и возникнуть.



Стихи Блока не доведены до совершенства, а избраны из неизвестности. Они не только избраны, но и выжданы, дожданы, выхвачены из какой-то неведомой глубины. Они словно долго поднимались по ступенькам и бесконечного, и многопенного потока времени. Причем изъяты лишь отдельные и такие немногие мгновения:

Есть минуты, когда не тревожит

Роковая нас жизни гроза...

Есть времена, есть дни, когда...

Эти мгновения не в прошлом, и не в будущем, и не сейчас. Они в каком-то особом ряду... и приходят со стороны вечности.



Большинство наших чувств умирает во младенчестве, многие недоживают даже до школьного возраста. И совсем уж ничтожное их количество достигает совершеннолетия.



У влюбленных — надежда, у любимых — вера, у разлюбленных, как ни странно, только у них — любовь.



Пять часов вечера. Англичане пьют чай, а у Гоши — приступ красноречия. Если я захожу на кухню, Гоша замолкает, ухожу — снова расцветает гошин голосок. Среди свиста, цокота, шипения и свирестения вдруг, как цитата, звучит вполне отчетливая фраза: *Прикройте дверь!*



Алоэ цветет один раз за сто лет. Так ведь и умереть можно, не дождавшись.



Когда же, когда же
Закончит Олег
Свои бесконечные сборы.



Неужели вот этому человеку в белом халате, с тяжелым черствым лицом и равнодушными глазами, я смогу доверить свою единственную болезнь.



Дневник — это послание самому себе. От себя прошлого — к себе будущему.



Сон — это переход из хаоса в космос. Подготовительный класс.



Июнь. Половина третьего ночи... Я только что оттуда. Я пребывал там, где мой насморк ровно ничего не значит, где все так призрачно, так эфемерно. Сколько бы мы там ни бывали, мы ни на йоту не поймем этот мир, который так манит нас и пугает. Ведь мы знаем, что однажды останемся там навсегда.



Женщина такая славная, такая трогательная и милая. Такую женщину можно встретить один-два раза в жизни. Не чаще. И вдруг — она чья-то жена. Где же справедливость?



Если даже любовь — это предположение, то все равно — очень интересное.



Без четверти четыре. В небе смутно, но светло. На востоке в треть неба сплошная облачная плотина, на дальнем юге — легкие перистые полосы. Остальная часть горизонта просторна и пуста.



Человек открывается не сразу. Замечаем какую-то одну черточку, другую складку на лбу, прищур глаз, новое выражение лица. И вдруг какой-то трогательный изгиб, уголок рта... и в душе совершается целый поворот. И перед тобой уже не просто некий, а дорогой человек.



В одиночестве, как в засаде, можно просидеть всю жизнь.



Любое стихотворение — творческий вызов. На этот вызов что-то откликается во Вселенной. Мощь замысла притягивает к себе частицы смысла с самых неожиданных сторон.



Стихи — это не только запечатление, но и реставрация чувств.



Сердце стучит всегда. Но стучат и сторожа, машинистки, путники, гости, доносчики, врачи, дятлы. Заключенные в камерах перестукиваются. Была когда-то даже такая профессия — стукальщик. Рабочий залезал внутрь огромного котла и выстукивал стенки, проверяя их прочность. Кто же стучит лучше всех? Царь Иван Грозный посохом об пол. У Тургенева есть рассказ «Стук... стук... стук!». Последним стучит могильщик, прибывая гвоздями крышку гроба. А покойник отвечает ему стуком с обратной стороны. Люди стучат, вопрошая, предупреждая и прощаясь.



Написать стихотворение — значит удержать на высокой ноте хотя бы одно сильное чувство. А это редко удается.



Парадоксы речи: свежая убоина.



Точность и меткость — два псевдонима краткости.



Шум словаря слегка напоминает чуть приглушенный рокот океана в ракушке где-то далеко на суше.



Существует расхожее представление о том, что поэт должен преодолеть косную материю словесной массы и добиться высокого совершенства. Согласно этому представлению, необходимо как бы извлечь из «сырья» чистый продукт поэзии. Отбрасывая шелуху, пуская в отходы «жмых», не лишает ли поэт тем самым свои стихи ценнейших и живительных витаминов? Может ли быть идеалом поэзии дистиллированная вода?



Некий композитор-авангардист в сочиняемую симфонию, как цитаты из реальности, вставляет скрежет трамвая на повороте, крики молочницы, бой часов. И наш Кеша туда же: смело вводит в свои птичьи импровизации фрагменты человеческой речи. Сегодня утром он ни с того ни с сего вдруг промолвил: *преемственность*. А как-то на днях сартикулировал целую фразу: *Выходите! Я жду вас на ковре*.



Поэту удалось нечто невероятное: представить и выразить суть в самый момент ее схватывания.



Людвиг Витгенштейн колоссально прав, утверждая, что нельзя любить ту женщину, которую обнимаешь. Постараюсь развить и дополнить это предположение. Ты обнимаешь одну, а любишь другую. Здесь нет никакого двуличия, ибо обнимаемая и любимая — физически одна женщина. Одна и та же. Но любовь возможна лишь в том случае, когда ты совершаешь «подмену». Ты «заместил» в своем сознании реальную женщину воображаемой, скажем осторожно, идеальной. И это не произвол воображения, но волевой, хотя и бессознательный порыв. Любые моральные суждения и гнев праведников здесь неуместны.



С подачи Маяковского вношу предложение: женщину сначала надо переделать, переделав, можно полюбить. Таким образом, любовь подобна творческому акту: поэт (в широком смысле) создает образец, то есть по-новому «образует» близлежащий мир. И чем дальше вторая (преобразенная) женщина от первой (изначальной), тем «пыльче», огромнее и подлиннее любовь.



Лирическое стихотворение — это всегда краткая, но напряженная схватка между предельной погруженностью в переживаемый момент и необходимостью отрешиться от этого момента, ибо лирика — это искусство обобщения и мобилизации. Стихотворение — это полный драматических напряжений и истерических воплей внутренний спектакль борьбы автора с самим собой. Жаль, что у этого спектакля нет зрителей. А еще стихотворение подобно невспаханной полосе между возможным и невозможным.



За-бы-вай-те. Забывайте кошельки, записки, обиды, собственную лень, забывайте про свои комплексы, забывайте про удачу и неудачу, поражения и победы. Забывайте. Осво-

Станислав Медовников

бождайте память для новых и лучших накоплений. Ярость забвения сродни ярости вдохновения.



Стихотворение поэта N напоминает клетку, в которой чисто, уютно, тепло. Все полочки и перекладина на месте. И свежая вода налита, и зерно отборное. Только птицы нет.



Стихотворение — не генеральный план сражения, а рекогносцировка, скорее вылазка, чем атака, больше разведка, нежели приступ.



Юмор — не приправа и не гарнир. Это, скорее, поворотная точка, умение заставить мир врасплох, зайти к нему с неожиданной и непрочитанной стороны. Юмор — способ проникать в конспирацию вещей, явлений и событий.



Сознание человека пребывает на линии соприкосновения внешних впечатлений, самых разнообразных — тех, которые «от мира сего», и разного рода внутренних побуждений, возникающих весьма произвольно. Столкновения встречных импульсов может обернуться стихотворной строчкой или даже целым стихотворением. Гораздо чаще, однако, это побуждение, едва вынырнув, как рыба из глубины, вновь уходит в неведомые дали нашего подсознания.



Ирония появляется там, где не хватает чувств или, напротив того, возникает страх перед их избытком. Это можно назвать нерешительностью сердца.



Конец июня. Вечер. Без пяти девять. А уже совсем-совсем темно. Прощайте, самые длинные дни. Мне так хоро-

шо было с вами. Так надежно. Эти ранние рассветы и долго копошащиеся сумерки. Мне так будет вас не хватать. И теперь мы вместе будем провожать каждую утраченную минуту, скорбеть о каждой пробоине в днище корабля. Сколько еще пройдет долгих, унылых месяцев, прежде чем вы опять подниметесь в полный рост.



В опыте небезнадежного стихотворения могут быть свои маленькие секреты, стихотворение талантливого поэта содержит загадку, а произведение гения хранит тайну.



Вежливость — первая ступенька, внимательность — вторая, третья — уже симпатия... До любви осталось всего 333 шага вверх по лестнице.



Лирическое стихотворение — это и кроссворд, и ребус одновременно. Житейская или метафизическая ситуация, лежащая в его основе, страдает неясностью и неполнотой. Это уравнение со многими неизвестными. Лица, явления и предметы обозначены в стихотворении очень общо. Они как бы выхвачены из тьмы обстоятельств на краткие мгновения и застигнуты врасплох.



Друзья пожирают время. Время в свою очередь пожирает друзей. И нам остается лишь вздыхать и сокрушаться: как хороши, как свежи были розы!



Начитанный человек приезжает на вокзал и, едва заведя знакомые очертания, почти автоматически начинает шептать: «Вокзал. Несгораемый ящик разлук моих. Встреч и разлук». Посмотрит такой эрудит на небо и снова разразится цитатой: «Редеет облаков летучая гряда...». Ну, а уж если,

Станислав Медовников

не приведи, господи, стоя на берегу моря, наш герой увидит яхту, как тут же, помимо его воли, возникает внутреннее бормотание: «Белеет парус одинокий...», даже если на горизонте плывет целая флотилия. И так всюду и всегда. Человек живет не своими чувствами, а чужими мыслями, хрестоматийные строки замещают и подавляют его собственные ассоциации. Так что же: не читать стихов и не запоминать их? Точного ответа у меня нет. Есть проблема.



Приходит ко мне один мой знакомый, увидел Дика и спрашивает: *Это какая порода?.. Стоп... я знаю: шницель-штуцер!*



Как филигранно тонко и предельно точно старокитайские поэты чувствовали переходы и изменения, грани и границы. У Ду Фу есть стихотворение о первом дне осени. Поэт буквально «караулит» всю ночь, подстерегая тот момент, тот неслышимый и незримый миг, когда лето отдает свои полномочия и на вахту заступает осень. Так незаметно и неощутимо трогается с места поезд, если им управляет умелый машинист. Чтобы различить первый шаг осени, необходимо иметь невероятный моцартовский слух, родственное внимание к природе.



Стихотворение — это каскад стремительных переходов из известного в неизвестное и обратно. Автор и на мгновение не может остановиться в одной точке. Он должен успеть создать пространство динамических перемен.



Когда Н читает свои стихи, ощущение такое, что покойника перекладывают с одного места на другое.



Сочинение стихов — это перепрыгивание через ближние мысли в надежде сразу достичь дальних.



Любое стихотворение — это одновременно и постановка, и составление, и решение задачи. И все это сразу, в один присест, на протяжении одного малого текста. Между тем, в науке, например, между постановкой задачи и ее решением могут пройти годы. А тут буквально за полчаса необходимо и завязать все узелки, и успеть развязать их, пробежать по всем лирическим тропинкам, оставив впечатление полноты и завершенности.



Замысел, процесс создания и окончательный результат в стихотворении не только неразделимы, но и трудно различимы.



В китайской пейзажной лирике снег — привычная стихия. Но он никогда не идет, не летит, не падает. Он всегда лежит. Метелей, вьюг, пурги в китайской классической поэзии не наблюдается.



Как здорово уйти в грамматику: затеряться между междометиями, пристать к приставкам, приложиться к прилагательному, поговорить с наречиями, вступить в союзы, полежать под подлежащим, сказать сказуемому, принять предложение предлога.



Ум — самая быстрая и подвижная часть нашего существа, а вера — медлительна, сурова, консервативна. Она придает нашей жизни основательность и постоянство. Ум обеспечивает динамику и переменчивость поэтических состояний в стихотворении, а вера — стержень его единства.



Николай Заболоцкий — поэт предвосхищения. Заболоцкий и Тарковский — два осколка серебряного века, застрявших в позолоченной бронзе соцреализма.



Метафора, как подводная лодка, всплывает внезапно, на краткий миг, и надо успеть...



Человеку тесно в своей собственной природе. Ему мало самого себя. Любовь — это открытая дверь... еще в одну комнату. У вас была одна замкнутая комната, а теперь — две. Вера — это сразу тысяча открытых дверей, это глубокая и прочная связь с бесконечными мирами.



Замечательно-легкий гений Пушкина совпал с золотой порой развития русского языка. Поэт «застал» родной язык в его самую прекрасную эпоху — эпоху расцвета. Сирень цветет 5—6 дней в мае, а все остальное время она уныла и безлика. Жизнь Пушкина и Батюшкова пришлось на эти цветущие дни. В пору пушкинского цветения русский язык достиг максимального совершенства во всех своих началах и формах.



С самого утра думал почему-то о Вальтере Скотте. И даже пытался сочинять о нем стихи:

У Вальтера Скотта
Большие проблемы,
И сердце болит, и живот.
Вчера не сумел доказать теоремы,
Что он человек, а не скот.



Антон Павлович Чехов — конечно, гуманист. Однако какой-то все-таки неполный. О прозрении и преображении Гурова писатель рассказывает подробнейшим образом, между тем переживания Анны Сергеевны представлены бегло и фрагментарно, а уж собачка и подавно неинтересна автору. Она только повод и предлог, только винтик механизма сюжетного движения. А в знаменитом тургеневском «Муму» о мучениях собаки — вообще ни слова. Тогда как с ее точки зрения, разница между барыней и Герасимом самая минимальная. В этой связи вполне можно предположить, что следующий этап в развитии русской литературы можно назвать периодом собачьего сентиментализма.



У древних греков одно и то же слово обозначало и бабочку, и душу.



Вся поэма — одна нескончаемая и неистовая молитва. Раздвоенное сознание увеличивает масштаб страданий лирического героя. С одной стороны, исступленное стремление познать сущность Господа. С другой — невозможность этого феномена, проистекающая из-за несовершенства человека. Но, впадая снова и снова в глухое отчаяние, он все-таки находит в себе несметные силы и волю к восхождению. В целом «Книга скорбных песнопений» древнеармянского поэта Григора Нарекаци есть грандиозная и героическая попытка восстановления божественной природы человека.



«Маскарад». Драма Лермонтова. Кризис чести. Переход от эпохи чести к эпохе совести.



Исправлять стихи, переделывать их, совершенствовать — значит исказить первоначальный непосредствен-

Станислав Медовников

ный порыв (ощущение, мысль). «Чувство, огромное в первой минуте», на другой день чахнет и увядает, как шкурка от банана, как сорванная роза без воды. В момент возникновения может случиться неудача. Стихи, как дети, рождаются живыми или мертвыми.



В мире нет ничего случайного — запальчиво провозглашают одни. Все случайно в мире и даже сам этот мир — меланхолично замечают другие.



Сон — это возвращение. Возвращение в свое вечное состояние, которое и «до», и «после». В нем так уютно, потому и не хочется из него выходить.



Мне иногда кажется, что чисто человеческая значимость Блока превышала его творческие возможности, уровень его лирического самовыражения. А у Бальмонта, наоборот, его огромный поэтический дар не был подкреплён в достаточной мере глубиной и мощью душевного содержания. Но все это очень тонко и сложно. Тем более, что когда речь идет о Блоке, велик страх сказать нечто неделикатное, недстойное великого имени.



Каждое записанное (завершенное) стихотворение перечеркивает (невольно) пять-шесть замыслов других стихотворений, которые уже никогда не состоятся.



Майское утро. Мелкий-мелкий дождь. Кажется, что он совсем пропадает посреди пути. И только когда смотришь на лужицу, замечаешь: кап-ли.



Последние годы XVIII-го и самые первые XIX-го веков — таинственные и незнакомые. Какой-то провал и выпадение. Откуда ни возьмись явился Павел — Первый и единственный. Беззаконная комета. Вместе с ним в русскую историю влетело нечто новое, доселе небывалое, небывшее и несбывшееся. Вдруг и внезапно промелькнули иные возможности, другие пути и судьбы. В какой-то урочный час вся мировая история могла развернуться совсем в другую сторону. Один только затеянный сумасбродным императором казачий поход на Индию не помещался ни в какие исторические ворота. В этом невероятном замысле, между прочим, явственно ощущим русский размах и удаль.

В этот междустолетний промежуток опустела сцена русской истории. Уже не стало Румянцева, Суворова, Потемкина, Орловых, Ломоносова, Фонвизина. Еще не пришли на общественную арену Жуковский, Батюшков, Сперанский, герои войны 12-го года. Еще впереди был звездный час Кутузова и Карамзина. Еще Аляска оставалась русской. Кончился самый счастливый век исторической России, начинался ее последний век.



Есть что-то избыточное и нелепо-фантастическое в собачьих глазах. В них столько печали, столько преданности и верности. В них такое понимание и сочувствие. А между тем собаки — существа примитивные. По образу жизни и ограничению в своих возможностях. И хочется сказать что-нибудь такое, тургеневское: не может быть, чтобы у божьих созданий с такими глазами не было какой-либо тайны и великой миссии.



Все, что знает о языке наука, это всего лишь одна со- тая, несколько отколовшихся плиток от громадного и величественного здания. Поэтому не будем трогать язык своими робкими и неумелыми прикосновениями, а целиком займемся речью. Всю языковую громаду можно представить в виде

Станислав Медовников

могучих, недвижимых берегов, между которыми бежит прихотливый, проворный, вечно изменчивый поток. В эту реку нельзя войти дважды: в каждый отдельный момент набегают новая волна.



...Его место где-то между Богом и Бахом.



Люди — всего лишь шлак и гравий на пути человека к человечеству. Пешеходный мостик, проходной двор.



Архипелаг души расположен между двумя океанами — плоти и духа.



Русская *победа* П (ворота, арка) — переход под крышу, скрытое, суровое торжество под спудом. Западная, латинская — *victoria V* — опрокинутый вниз треугольник, развилка, рога — ничем не стесненное празднество, триумф и пылкое ликование, устремленная в небо радость. Выразительный и содержательный контраст.



Сны проходят по самой кромке нашей жизни, и каждый из них «уносит частицу бытия», каждый закрывает еще один сюжет, который мог бы осуществиться наяву, но теперь уже никогда. Еще один сон «съел» и этот эпизод. Сны — это наши другие, непржитые жизни, наша тайная судьба, неведомая не только миру, но и нам самим.



Когда я был маленьким и слышал, как говорят нищие: «Подайте милостыню, *христаруди*». Я это выражение воспринимал как одно слово, как наречие, не расчлняя. Я даже

не догадывался, что эта мольба имеет отношение к Иисусу Христу, равно как и слово «расхристанный».



Вставляю нитку в игольное ушко, а ощущение такое, будто я соединяю два океана, две судьбы, два сердца.



Убивая убийцу, мы подтверждаем залоговую цену жизни.



Никакой продажной любви. Теперь это по-другому называется. Солидно и толерантно: коммерческий секс.



Слегка тронутая дама услышала стук в дверь:

— Кто там?

— Мама, это я!

— Нет. Мама — это я.



Целый день спят ночные цветы.
Но лишь солнце за реку пойдет,
Раскрываются тихо листья.
И я слышу, как сердце цветет.

В этом стихотворении Афанасия Фета совсем иная «природа» отношений с природой. До Фета так близко к ней не подходил никто из русских поэтов и никто таких тайн у нее не выведывал. Это какой-то бесшабашный заговор и влюбленный сговор поэта с природой. Раньше никому не было дела до ночных цветов. Никто и не подозревал об их существовании. Последняя строка (и я слышу, как *сердце цветет*) может смутить некоторых тонких ценителей поэзии. Стихотворец среднего калибра не осмелится так написать. Он посчитал бы, что это слишком красиво и потому банально. Великие же поэты обладают неслыханной смелостью.

Фет не испугался, и из-под его пера вышли замечательные строки.



Любовь без веры непрочна, вера без надежды темна,
надежда без любви бескрыла.



Иногда мне кажется, что в теле Дика заперта тонкая и нежная душа. Ей тесно, она просится наружу, хочет вырваться и смотрит на меня умоляющими глазами.



Стихи — это отнюдь не выражение, а вымысел, фантазия по поводу наших чувств. Конечно, импульс может исходить от непосредственного движения сердца, но, попадая в зону стихотворения, оно (это самое чувство) преобразуется до полного неузнавания, становится как бы абстрактным.



В почерке отражается не только судьба человека, но и приключение букв, их амбиции и надежды, их встречи и расставания, их дружбы и любви, их ярость и смирение. Алфавит — язык, а почерк каждого человека — индивидуальная речь. Почерк — это воображаемый экстатический танец сердца на белом листе бумаги.



В сознании непрерывно шевелится некая сплошная словесно-ритмическая громада: какие-то обрывки, фрагменты, осколки, как бы зародыши, погибающие в огромном большинстве. Это и есть *внутренние* стихи.



Отправив Пушкина в южную ссылку, Александр I сделал для русской литературы больше, чем сотни писателей и критиков.



Однажды утром я встал... и вышел из окружающей среды. Среда молча расступилась, не делая никаких попыток к задержанию.



Нельзя испытывать нежность на прочность и на выдержку, оценивать ее, сравнивать, взвешивать. Подобные манипуляции с ней губительны, от них нежность зачахнет и исчезнет.



В ранние сумерки, в самые первые минуты вдруг наплывает голубоватый дым, словно между светом и тьмой падает голубой занавес. Все предметы вокруг внезапно приобретают пронзительную яркость и четкие очертания.



Каждому человеку даровано строго определенное количество снов. Последний сон — без пробуждения. Только никто не знает, какой сон — последний.



Пустота бывает иногда очень глубокой и увлекательной.



У Новалиса есть любопытное наблюдение: мысль — это окаменевшее чувство. К этой догадке можно добавить еще одну. Чувство — это очень юная неокрепшая мысль.



Вперед, Отечества сыны,
День славы настает!

Так начинается Марсельеза. В переводе на русский эти строки приобретают иной смысл:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.

Заметьте, что в оригинале нет ни малейшего отрицания, никакого поругания Родины... и нет никакого праха. Сплошной мажор и позитив!



До середины жизни следует любить, а все оставшиеся годы вспоминать и верить в то, какой прекрасной была эта любовь.



Накануне вторжения в Россию вечером 23 июня на биваке, в лесу возле города Волковыска, Наполеон продиктовал приказ по армии, который начинался такими словами: «Солдаты, Вторая Польская кампания началась...» Вы только подумайте — «вторая польская кампания». Что-то вроде легкой прогулки по окрестным полям. Он даже не считает нужным назвать страну, подлежащую завоеванию и покорению. Россия казалась ему захудалой окраиной Польши. К этому моменту великий полководец провел уже десятка два победоносных войн. Вот и еще одна небольшая летняя войнушка. Двадцать держав он уже сокрушил. Теперь еще одна. За его спиной — шестисоттысячная Великая армия. До этого часа никто и никогда в мире не собирал столь громадного войска в одном месте. Кто бы сомневался в исходе этой... Второй Польской кампании...

Даже гении страдают куриной слепотой!



Доживем ли мы когда-нибудь до таких времен, когда сажать будут только картошку, а сеять — исключительно разумное, доброе, вечное?



Время нельзя удержать, но можно поманить.



Мир состоит из меня, ворон, облаков, трамваев, истерик, плана, хохота и еще из плохой погоды и любимой женщины.



— Кто же это в больших сапожищах, и куда же его понесло?

— Я — прошедшее время, дружище. Я прошло.



Гербарий моих удивлений.



Повстречались на том свете Гоголь и Толстой. Гоголь и говорит:

— Ну вот, голубчик, Лев Николаевич, теперь мы с Вами мертвые души.

— Э нет, батенька, — отвечает Толстой — Я — живой труп.



Дарование, талант — это только золотой ключ. Самое главное — найти замок (дверную скважину), куда его можно вставить.



Брак — торжественно-строгое объявление войны. Свадьба — отчаянное и веселое прощание с мирной жизнью. Если возникают дети, то они — жертвы войны. Жертвы любают своих палачей больше, чем избавителей.



Жажда завершения — двигатель творческого созидания.



Предметы и вещи в стихах то разбегаются в разные стороны, то снова сходятся вместе, прячутся и возникают, меняются местами, играют в жмурки. Поэзия — та сторона света, которая более всего готова к изменениям и преобразованиям.



О-ди-но-чест-во... Какое длинное слово. Как будто это долгая очередь букв, стоящих в затылок друг другу в бесконечном и безнадежном ожидании.

Одиночество — это большой многоэтажный дом, в котором светится только одно окно. Одним этим словом «одиночество» мы обозначаем множество самых разных состояний. Есть одиночество сердца и одиночество души, одиночество тюремной камеры и одиночество в толпе. Одиночество детства не похоже на пустоту старости, а одиночество влюбленного на взлете чувства — на печаль покинутой женщины. Вертикальное одиночество дерева трудно сравнивать с опрокинутым одиночеством моря. По-разному одиноки Млечный Путь и червяк, проникший в яблоко.

Два разных одиночества в одной связке: хирурга, производящего сложную операцию на сердце, и его пациента.

Не спрашивай путника, куда он идет. Куда бы он ни шел, он всегда идет навстречу своему одиночеству.



Два мальчика без штанов выбежали утром на крыльцо и весело поливали друг друга. Пере-писка.



Стихи — крайняя степень речевой напряженности. Она всегда на границе возможностей языка, на грани нервного срыва. Пишущие стихи то и дело переходят эту границу с разной долей дерзости и удачи. Но сама попытка такого перехода — уже тавро подлинности.



Если рукопись не горит, значит в ней много воды.



Оркестр играет, и образ музыки бесконечно делится на части и частицы, а дирижер собирает их снова воедино и возвращает обретенный монолит оркестру. Музыка растекается и разбегается во все концы, но воля дирижера непреклонна.



Ночью время тянется иначе, нежели днем. Днем время толкает нас в спину. Оно гонит нас, торопит: подъем, прогулка, бритье, завтрак — на работу, на встречу, в библиотеку. Затем обед, отдых, вечером в театр, в гости... Время нас подгоняет и само устает к вечеру. Ночью уже мы преодолеваем плотную завесу темного времени. Превозмогаем его, тесним, проходя в сторону светлого утра.



Мы приехали на станцию Малая Фигня.



Женщина сидит перед зеркалом и горько плачет. Горестные переживания, настоящие страдания, слезы искренние. Не прерывая плача, женщина бросает взгляд в зеркало, меняет позу и начинает плакать уже как-то иначе.



Провинция боится простоты.



Толпа, **плот**, **плоскость**, **полк**, **полнота**, **ополчение**. Во всех этих словах **пл** означает сплетение, сгущение, сцепление вещества или живой материи.

Пламя — плотность огня; **плод** — отверждение соков; **сплетня** — скопление слухов; **плевок**, сопли — concentra-

Станислав Медовников

ция жидкости; **пленка**, **плева** — тонкая, легко проходимая оболочка; **заплот** — не просто ограда, а сплошная; **заплата** — наложение одной материи на другую, близкое к этому значение имеют украинское слово **пляма** и польское **plata**. **Топленое** (молоко) — предельно густое, плотное, запекшееся; **плетка** — соединение волокон или нитей. Каждый мыслящий по-русски может добавить к этому ряду еще немало слов.



Невозможно вообразить летающего крота и Гоголя на дуэли.



Пустота — это безработная свобода. Свобода без границ.



Второй день ноября. Утро. Тихо и тепло. Стаи птиц. Природа замерла в ожидании. В такие дни хорошо каяться или влюбляться.



Пасмурный день. Возле большой троллейбусной остановки. Бойкая старушка подбегает к табачному киоску и протягивает молоденькой продавщице бумажный сверток. А та улыбается и кричит пронзительно и нежно:

— Ах, ты, спичка моя золотая!



Смерть — это выход. Только неизвестно куда. В любви нет меры, а в смерти — соразмерности.

Смерть несопоставима со всеми иными реалиями человеческого бытия. Сама смерть — это голый результат. Процесса нет. Единичность и мгновенность смерти исключают всякую возможность ее постижения. Нельзя оказаться внутри смерти, но и со стороны ее невозможно наблюдать. Видимы и зримы лишь ее последствия.

В таблице человеческих первостепенностей смерть занимает и первую, и последнюю строчку. Смерть — это поезд, помещенный в огромный железный футляр. Непрерывное движение по кругу без остановок. Непонятно, как туда можно попасть.



Надпись на заборе: *души маей ни кто не знает.*



Вчера я вышел в люди. Постоял среди них. Осмотрелся. Послушал. Пожал плечами. И вернулся. Пришел в себя. Решил остаться человеком.



Зима — это русская античность.



Давно было сказано: *мужчины, носите мужские шляпы.* Последние, однако, не вняли этому призыву и продолжали покрывать голову черт знает чем. Видя такое непотребство, мужские шляпы стали носить женщины. И оказалось, что им они очень к лицу.



Снег, словно новая эпоха. Он сразу отсекает прошлое и что-то обещает.



Искренность — это мгновенный выплеск, эксклюзивный вынос на поверхность, бросок красноречия. Искренность — истинность данного мгновения, правда этой минуты. В большом контексте моментальная правда искренности может оказаться своей противоположностью.

Собаки ближе к искренности, кошки — к откровенности.



Первыми рабами были животные, а потом уже и люди.



В стихах Маяковского наблюдается резкое возрастание и приумножение вещного мира, особенно колющих и режущих предметов. Едва ли не первым автор «Флейты-позвоночника» вводит в стихотворное пространство очки и велосипед, трамвай и пулемет, а также морские суда и летательные аппараты. Техника в лирике Маяковского становится броской, зловещей, агрессивной. Напротив того, природа сникла, посторонилась, стала маргинальной.



Жалость — это Первая ступенька. На ней следует задержаться, прислушаться к себе, уловить тайный зов. И тогда броситься бежать куда-то еще дальше... к высшим чувствам.



Кроме крепости, стойкости, горечи, резкости, у водки есть еще одна характеристика: **хлёсткость**.



Поэзия — это плен бесконечных возвращений. Поэт проходит по судьбе, как маятник — туда и оттуда. В конце первой и каждой новой строки совершается **возвращение** — от конца к началу. Каждая строка начинает все заново. Стихотворение, словно коза на привязи, далеко уйти не может — чуть-чуть отойдет и тут же возвращается к своему колышку.



История Украины.

Старт дан. Время пошло. Пространство отгорожено, демаркационные линии проведены. Сцена готова, декорации установлены, флаг вывешен, люди запущены. Началось беспорядочное движение, но завязка не складывается, пьеса

еще не написана. История не начиналась, только разрозненные, лихорадочные попытки.



Вода — глаза природы, а лес — ее уши.



Юмор и есть та независимая и непреложная мера, которая отвлеченно от всех знаний и умений, поверх натасканности, надрессированности определяет истинную ценность и значимость человека, не применительно к конкретному случаю, а абсолютно.



Где-то далеко внизу корчилась, и вопила, и глухо билась головой о стену плененная вода.



Мир состоит не только из твердых тел и видимых объемов, не только из прямых и ломаных линий, не только из ливней, потоков и струй, но еще и из рассветов и закатов, туманов и ветров, а помимо этого существуют также грезы, наваждения, предположения, надежды. Все эти различные миры со многих сторон подступают к сердцу поэта, и все они имеют право на лирическое воплощение.



Открылось окно, и ветер, в него залетевший, стал осторожно переворачивать страницу моего спокойствия.



Смерть — это встречный поезд: все поехали в одну сторону, а ты — в другую.



Приходится долго и громко кричать, чтобы ваш шепот был, наконец, услышан.



В драматический театр человек приходит, чтобы не чувствовать себя одиноким, а на симфоническом концерте в филармонии он наслаждается своим одиночеством.



Однажды, читая лекцию в университете, я упомянул Сашу Черного.

— Это вы о Пушкине?— спросил кто-то из студентов.



Мгновения длительности.



Вода жила себе спокойно, бежала, звенела, журчала, падала сверху, глядела на мир и отражала его всеми миллионами своих глаз... И вдруг ее схватили, стиснули, запрятали в трубу, в бачок, в чайник, стали нагревать, мучить, принуждать к бурлению и кипению.



На великодушное предложение: «Давайте дружить» теперь ответят деловым вопросом: «В каком формате?».



Пуговица от штанов бомжа стоит 50 копеек, а запонка от рубашки Абрамовича — 10000 гривень. Однако, через 1000 лет и та и другая в равной мере станут ценными памятниками материальной культуры далекого прошлого.



Как бы я относился к поэзии Блока, если бы он жил в соседней квартире и каждое утро я видел бы, как автор «Незнакомки» выносит мусорное ведро...



Реклама. Водка «Старая мельница» изготавливается из *исправленной* воды в городе Жиздра Калужской области.



Марк Аврелий, не заглядывая в интернет, не слушая ТВ и радио, не прибегая к помощи компьютера, не поднимаясь в небо и в космос, не читая Руссо и Канта, не будучи знаком с Эйнштейном, знал о жизни и смерти нечто такое, о чем миллиарды наших современников не имеют ни малейшего понятия.



Колодец — это глубокое окно, на дне которого находится зеркало.



Во сне мы встречаемся с тайной, с истиной, с будущим, с Богом и с самим собой.



Наша Вселенная — совсем еще молодая женщина. Всего-то-навсего каких-нибудь 15 миллиардов лет.



У каждой культурной эпохи бывает предчувствие и послевкусие.



Служба в армии — это бесценный опыт разлук и прощаний. Наука расставания — одна из главных воинских дисциплин. А еще армия (воинская часть) — большой мужской монастырь, устав которого помогает мужчине понять свою собственную сущность. Новобранец переживает целый комплекс ограничений, что, в конечном счете, идет ему на пользу. Отсутствие многих привычных и приятных вещей помо-

Станислав Медовников

гает укрепить присутствие духа. Армию можно сравнить с общественной баней, где каждый предстает в своем натуральном виде.



Из наружных наблюдений: заднее число у нее сильно перевешивало и кренило всю фигуру набок.



Какое «густое» слово *замысел*. За-*мы*-сел. То есть «сел» где-то за нами. Мы его не видим, а только угадываем.



Со всех сторон навис туман. Тяжелый, тягучий. Стоит и не уходит. Кажется, что жизнь остановилась. Весь мир на долго и безнадежно задремал. Тишина ожидания.



Февраль — серебряный месяц зимы.



Прекрасно все, что не оранжево.



Дик непрестанно и неотступно живет на «первой линии». Он весь и всегда во власти «первых» эмоций, непосредственных желаний, неожиданных порывов. Он ничего не замышляет, не планирует. Дик не сможет содейть никакого коварства, ибо каждое свое побуждение выражает явно и незамедлительно. Для человека подобное поведение самоубийственно. Мы любим собак еще и за то, может быть, что они могут позволить себе такую щедрую искренность, которая нам решительно недоступна.



У Владимира Соловьева есть мысль, которую я определенным образом трансформирую в своем изложении. Иногда

из самой дальней глубины звериного существа глядит на нас что-то еще дочеловеческое, но не менее чуткое, печальное и осмысленное. Чаще, однако, приходится наблюдать противоположное зрелище. Из человеческого, казалось бы, лица прет такое свирепое свинство, такая бар-сучья дикость, такое коровье равнодушие, что хочется поскорее убежать в зоопарк и там искать доброту, сочувствие, сердечную искренность.



Чаще всего мы говорим о тех вещах, которые от нас никоим образом не зависят — погода, сны, болезни, цены, счастье, талант, любовь, политика, спорт.



Поспешный снегопад. Как будто зима на поезд опаздывает. Крупный, нарядный и быстро падающий снег. «Белый свет» перестал быть метафорой. Белый снег стал светом, а свет сделался белым.



Писята — маленькие писатели. А больших-то уж и не осталось.



Разговор — мысли в движении. А письмо — фиксация уже завершенной мысли. Разговор — поле разнонаправленных тропок и торопящихся тропинок, а писание — прямая укатанная дорога с односторонним движением.



Неровные края огромных туч охватили небо с трех сторон так, что в середине остался большой проем, напоминающий своими очертаниями Каспийское море. Но большая часть небесного воинства сместилась куда-то на север, а белый цвет уступил место темно-фиолетовому.



После грандиозного, мужественного прорыва в поэтическом мышлении — облако в штанах — случился и другой, малый, дамский, манерно-ахмадулинский — и стайкою, наискосок уходят запахи и звуки.



Есть такие глупости, которые можно сказать только в стихах.



Бог — это полное собрание всех наших возможностей и бесконечная невозможность нашего полного собрания.



Признание дороже, чем знание. Знания, как камни на дороге: каждый может подобрать. Они — для всех. Все знают одно. Разница только в количестве. А признание — тебе, узнавание — тебя, единственного. Признание есть удостоверение в твоей исключительности, свидетельство о незаменимости твоего существования, ордер на вселение в круг избранных. Признание — это избрание тебя и только тебя. Признанный не одинок и в своем одиночестве, ибо теперь рядом с ним его признание, которое навсегда соединяет его и с тем, кто его признал, и со всеми признанными.

Деревья, облака, птицы, что пересекают небо, — все они безымянные, стало быть, непризнанные. Но ведь каждый единственен, и все жаждут признания. И когда поэт посвящает свои стихи озерам, рощам, облакам, это и есть признание. Признание их вечности, их абсолютной ценности и совершенной необходимости.

Пока человек живет, он ждет признания каждый день. Как пусто и неуютно на душе, если нет признания. Когда же человек умирает, признание для него становится еще более необходимым. А высшая ступенька признания — это любовь.



У человека два плеча для дружбы и одно сердце для любви.



А у облака, у любого, каким бы кудрявым оно ни казалось, всего лишь два пути: дозреть до тучи и пролиться дождем или исчезнуть бесследно в чистом небе. Первый путь — приятный и бесполезный, второй — тяжелый и праведный.

Небо, как гончар: одни формы и объемы оно беспощадно разрушает, а другие — тут же бережно и заботливо ваяет. Как настоящий гений, оно нисколько не заботится о сохранении предшествующих образов. Зачем? Ведь в любой момент живая мощь небес может *quantum satis* «наваять» новых образцов и подобий.



Всякому движению души, усилию мысли сопутствует свой особый ритм, который следует сохранять, чтобы приблизиться к совершенству.



Если мост поставить «на попа», он может заменить памятник, а сам памятник повалить на землю, то он может поработать в качестве моста.



Когда стало можно писать обо всем, оказалось, что писать не о чем.



У каждого человека есть свой, строго определенный запас снов. Часть этого запаса — золотая. Человек будет жить до тех пор, пока не приснятся ему все положенные сны.



Нельзя упасть к собственным ногам.



И снова осень на дворе. Однако «снова» — неточное слово. Кажется, что осень никуда и не уходила. Осень — самая реальная пора года. Единственная, когда хочется, чтобы время остановилось и все вокруг оставалось без перемен. Почему-то осенью вся природа — деревья, птицы, облака — становится понятнее, ближе, роднее. И если счастье на свете все-таки возможно, то ждать его стоит прежде всего осенью.



Стихи часто рождаются на пороге сна и яви, в точке встречи разнородных стихий, на контрасте, когда сталкиваются две массы, две волны разной плотности. На этом перепаде давлений образуется тяга. Может быть, вдохновение — это и есть направленное движение духа (воздуха) между участниками, находящимися в сферах, противоположных по степени концентрации вещества. Из переполненного сердца импульс устремляется в девственную пустоту мира или из сгущенной атмосферы небес врывается в опустошенное сердце содержательно-плотный ветер бытия.



Ограниченный человек. Ограниченный — стало быть, четкий, обязательный и предсказуемый. С ним приятно иметь дело. Он не подведет, не закапризничает, потому что соблюдает правила и нормы. А неограниченный — как тесто, вылезшее из квашни. Непонятно, где начало, где конец, никаких пределов и ограничительных линий. Это неменяемый человек, который ни за что не отвечает. В общем, жалкий тип, нелепый выкидыш природы.



Природа вечно занята сама собой: ей некогда разговаривать с нами.



Мой одинокий молчаливый друг. Никогда не упрекнет, не скажет слова поперек, только посмотрит иной раз укоризненно. Долгие часы проводит он в полном одиночестве. Когда он спит, то кажется таким несчастным, таким беззащитным. Так хочется что-нибудь для него сделать. Я никогда не узнаю о том, какие мысли его посещают, какие видения предстают перед ним. Какая жалость, что нет у нас с ним общего поприща и языка для обмена чувствами. Только взгляды, жесты и междометия.



Сразу после восьми утра пошел снег. И идет кряду уже около трех часов. И если до этого еще сохранялись какие-то надежды на теплые погожие дни, то снег сразу и навсегда все иллюзии отmel и смену времен года сделал необратимой. Снег прикрыл и исправил все изъяны местности. Выпуклое он уплостил, а плоское сделал более объемным. Мир со снегом стал и разнообразнее, и проще. Первый снег и первый сон всегда одиноки. Первый снег — посланец и вестник времени.



«Избранное» — чье? и избранное — кем?



Однажды чуть было не сказал одной знакомой женщине: не гонитесь за чужим счастьем. Но воздержался, ибо понял, что не бывает чужого счастья.



Остатки сна, как войска после неудачного сражения, рассеяны и загнаны в тупик. От сна остались одни стрелки: собирался, отправлялся, прибыл, представился, вел переговоры, а как, с кем, где, зачем — это темно и неизвестно.



Стихи — это только граница смысла. Его первая застава.

Станислав Медовников



Живущий в тебе внутренний человек может оказаться людоедом.



Поэзия — жительница верхних этажей.



На 30 % жизнь состоит из привычек и на 70% из возвращений. Мы возвращаемся к своим привычкам и привыкаем к возвращениям.

ЗАМЕТКИ И СТАТЬИ



ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

(записки потерпевшего)

Жанр этих записок ближе всего к личному дневнику, в котором преобладают наблюдения над тем, чем каждый из нас обладает по праву рождения — собственным организмом и происходящими в нем процессами. Автор — медицински необразованный человек, поэтому он не мог себе позволить каких-либо суждений о том, что является предметом науки. В этом очерке наблюдения и сопоставления носят исключительно конкретный и частный характер. Некоторые рассуждения автора могут показаться странными, противоречащими общепринятым представлениям. По этому поводу автор должен заметить, что он ни в малейшей мере не претендует на какие-либо опровержения или критические высказывания.

В очерке описан лишь опыт собственных переживаний и ощущений, а он у каждого человека — уникальный. Это обстоятельство и позволяет автору надеяться на то, что хотя бы в некоторой части записок присутствует момент оригинальности и новизны.

У счастья и здоровья не бывает истории. История есть только у болезни. Эти грустные истории пишутся на толстых канцелярских листах, которые потом долго пылятся в унылых больничных шкафах. Все описанные болезни похожи друг на друга, как близнецы. Фиксация и перечисление признаков болезни — это еще не вся ее история: Историю пишут специалисты, но реальным опытом болезни обладает только больной.

Мне всегда казалось странным, что люди, все такие разные, болеют одинаковыми болезнями. Конечно, у всех людей по две руки, столько же ног и одна селезенка. Речь, однако, идет не о механических повреждениях. У каждого человека все индивидуально и особенно: и лицо, и мысли, и вкусы, и

привычки... и болезни тоже. В справочниках и энциклопедиях описаны симптомы самых разных болезней, которым может подвергнуться человек. Я, конечно, не читал эти солидные книги, но абсолютно уверен, что в них не значится моя персональная болезнь, которая не расстается со мной вот уже много лет.

Все эти годы я страдал одним и тем же недугом, повторяющимся с удивительным постоянством. Других болезней я не знал. Эпидемии гриппа и другие популярные хвори старательно обходили меня стороной. Я не учитываю здесь ушибы, порезы и другие случайные ранения. Таким образом, у меня есть своя болезнь, еще не поименованная. Ее приметам и характеристикам и посвящен этот очерк.

Наши мысли и переживания, наша внутренняя речь, сны и болезни — это то, что принадлежит исключительно нам, каждому из нас и остается нашим единственным достоянием. Конечно, никто не застрахован от того, что может подцепить какую-то заразную массовую болезнь — холеру, чуму, СПИД. Но эти ужасные напасти относятся к моей болезни примерно так же, как площадная ругань разбушевавшегося хулигана к моему внутреннему голосу. Болезнь, о которой я рассказываю, неизвестна в природе, и поэтому никакой врач ничем мне помочь не может по причине его полного незнания с охватившим меня недомоганием. По некоторым признакам эта моя приватная болезнь похожа на обыкновенную простуду, грипп или катар верхних дыхательных путей. Но совпадение внешних признаков мало что значит. С одной стороны, возможен некий внешний повод, но с другой, моя болезнь — целиком мое собственное дитя, мною воспитанное и взлелеянное. Я не знаю, почему она появляется в тот или иной момент. И все-таки некоторые закономерности ее прихода можно установить. Так, например, чаще всего она случается в январе, марте, июне и октябре, а в такие месяцы, как апрель, май, июль, декабрь, она не дает о себе знать.

За годы и годы у меня было достаточно времени и возможностей для тщательного и подробного изучения болезни, для проникновения в ее скрытые области и тонкие извилины. Когда одно и то же происходит в десятый, шестнадцатый, двадцать четвертый раз, то уже наперед угадываешь

отдельные детали и общий характер протекания болезни. Досконально знаешь последовательность фаз, динамику основного течения и побочных процессов. Конечно, всякий раз возникают некие атрибуты, ранее отсутствовавшие или имевшие иное качество. Между отдельными видами недомоганий, как то: головная боль, сухость в горле, ломота в костях, могут происходить смещения зон интенсивного влияния, перераспределение пропорций, какой-то из этих «негораздов» имеет шанс стать лидером, доминировать над остальными.

Есть у этой болезни еще один и, пожалуй, самый мучительный «компонент». Это насморк. Если сравнить болезнь с городом, то насморк — главный его проспект. Именно здесь и совершаются самые бурные и самые наглядные передвижения «болезненных масс». Кроме того, это еще и барометр перемен в ходе болезни, в последовательности ее периодов. Насморк чем-то напоминает небольшое каботажное плавание во внутренних водах. Против него бессильны как лекарственные препараты, так и ликеро-водочные меры. И даже пресловутые народные средства.

Насморк обладает поразительным постоянством. Он, как поезд, точно по расписанию и в срок проходит через каждую свою стадию. Как ни смешно это прозвучит, но насморк — самая стабильная и неизменяемая сторона болезни. Он удивительно верен своей природе. Именно это обстоятельство и позволяет хотя бы отчасти смягчить и умерить все его капризы и неистовства.

Итак, я хорошо изучил свой персональный насморк и точно знаю, каких каверз и неприятностей можно от него ожидать. Больше всего он свирепствует на вторые сутки ближе к вечеру. Третий день — это уже начало «насморочного» замедления и «загустения». Затем еще два-три дня длится все ускоряющееся отступление насморка и постепенное возвращение к норме. Но и это еще не все. Следующие десять-двенадцать дней уходят на изживание остаточных явлений и «подсыхание» носа. Острота болезненных процессов при этом резко падает.

Столь же подробно известны мне и другие «составляющие» моей болезни. Это просто. Кто лучше меня может ее

знать, если мы проводим вместе многие часы и целые сутки. Теперь возможный мой читатель уже не станет недоумевать, коль скоро я объявлю, что между мной и моей болезнью за немалый срок совместного пребывания сложились определенные отношения, которые можно охарактеризовать как вынужденное соглашение, необходимое содружество и как длительное перемирие. Болезнь ведет себя прилично и не наносит мне непоправимого урона. Более того, она полезна и необходима моему организму. Подробнее я скажу об этом ниже.

Я приспособился к своей болезни, научился терпению и веду себя осторожно и прагматично. Я не травлю ее химией и не пытаюсь ее уничтожить. В этом случае я должен был бы уничтожить часть самого себя. Свою болезнь я встречаю и переживаю примерно так же, как люди, живущие в холодном климате, встречают и проводят зиму. Они же не пытаются растопить снега и согреть весь окружающий воздух. Зима входит в привычную для них картину мира и становится частью их повседневного существования. Моя позиция не имеет ничего общего с романтизмом или альтруизмом. Я руководствуюсь не чем иным, как разумным эгоизмом, что равнозначно здравому смыслу. Естественное и неискаженное протекание болезни есть самый оптимальный выход из сложившейся ситуации. Я наверное знаю, что все другие способы преодоления моей «любимой» болезни гораздо хуже и обойдутся моему здоровью много дороже.

В одной из многочисленных легенд об Авиценне рассказывается о том, как великий врачеватель, желая приободрить больного, обратился к последнему: «Верь в благополучный исход. Ведь нас с тобой двое, а она одна». Одна — это, разумеется, болезнь. При всем моем безграничном уважении к «людям в белых халатах» в подобной ситуации я бы скорее присоединился к высказыванию известного поэта Ярослава Смелякова:

Если я заболел,
К врачам обращаться не стану...

А если врач, паче чаяния, все-таки явится, то он будет лечить не мою болезнь, о которой он не имеет ни малейшего

представления, а какую-то совсем другую. И тем самым он причинит ущерб моей болезни, а стало быть, и мне. Возникает совершенно парадоксальная ситуация: я буду вынужден защищать свою болезнь от врача. Я уже слышу опрокидывающее возражение, что врач лечит не болезнь, а больного. Но мы-то уже знаем, что болезнь, о которой идет речь, — моя неотъемлемая часть, одно из моих состояний. Поток болезни неотделим от всего остального, что есть во мне. Отделить болезнь от здоровья внутри меня невозможно. Таким образом в роковом треугольнике *больной — болезнь — врач* возможны различные варианты группировок. Впрочем, пока я предавался различным предположениям, ситуация дошла до такой крайности, которую древние римляне называли *reductio ad absurdum*. Но это лишь некоторое допущение, позволяющее лучше уяснить суть проблемы.

Из моих предыдущих замечаний можно вывести некоторое заключение. Лечение болезни — занятие захватывающее и как бы самодостаточное, оно увлекает настолько, что становится самоцелью. Понятно, что речь идет не о черепно-мозговой травме и не о тяжелых заболеваниях, грозящих летальным исходом. Рождение, сон, обморок, сумасшествие и даже сама смерть — все это лишь разные виды одиночества. Болезнь также примыкает к этому ряду.

Между больным и остальным человечеством как бы воздвигается стена. К счастью, не глухая и не сплошная. Это уже область смерти. Может быть, даже не стена, а завеса, охраняющая от слишком назойливых и беззастенчивых вторжений внешнего мира. Болезнь — прекрасный повод сосредоточиться вокруг собственного основания, закрыться в себе самом. Как бы захлопнуть окошко: дескать, закрыто на учет и инвентаризацию. Процесс болезни — это перераспределение ресурсов, перемещение внутренних потоков, перегруппировка сил, сдвигание умственных горизонтов. Один знакомый математик рассказал мне о том, как он несколько месяцев бился над уравнением, которого никак не мог решить. А во время болезни решение пришло само собой. Угнетая одни участки организма, болезнь высвобождает другие. Конечно, это довольно элементарные вещи, но я вынужден о них напомнить для создания контекста.

В этом смысле болезнь можно рассматривать как еще один источник творческих сил, дополнительный стимул и нераскрытый потенциал.

Можно прожить много лет и умереть, так и не узнав до конца даже того, что было в тебе самом, не употребив и половины дарованного тебе интеллектуального запаса. Болезнь есть акт самопознания, она приводит в движение застоявшиеся неведомые силы, давая им выход и направление.

Болезнь — и вестница, и странница, и труженица. В бреду или полубреду люди несут всяческий вздор и око-лесицу, но нередко сквозь косноязычное бормотание вдруг прорываются меткие выражения, яркие метафоры, гениальные стихотворные строки. Известно, что некоторые свои замечательные стихотворения Артю́р Рембо сочинил в бредовом состоянии. Это явление того же порядка.

Регулярно приходящая, возвращающаяся болезнь непосредственно включается в число основных жизненных ритмов. К болезни привыкаешь, даже ждешь, долгое ее отсутствие порождает беспокойство. От сплошного здоровья тоже ведь можно устать, как и от здравого смысла. На этом фоне болезнь становится маленьким романтическим приключением, чем-то вроде влюбленности, небольшой экскурсией по внутренним помещениям души. Недаром ведь французы говорят: болезнь — путешествие бедных.

Болезнь никогда не приходит одна. Вслед за ней наступает выздоровление, как рассвет после ночи. Боль, жжение и другие телесные неудобства сменяются радостью избавления от немощи и хвори. Все это вместе взятое порождает особое чувство обновления, новое, обостренное и свежее ощущение жизни.

Моя болезнь ведет себя вполне корректно, я бы сказал, даже дружелюбно, не позволяя себе никакого коварства — резких скачков и внезапных осложнений. Разумеется, каждое новое заболевание отличается от предыдущего, возникают некие новые обстоятельства. То головная боль превышает норму, то слабость становится чрезмерной. Но все это происходит в безопасных для здоровья пределах и без тяжких последствий.

Чередовательное возвращение болезни принимает циклический характер. Болезнь превращается в привычное

домашнее событие наподобие приезда гостей или перестановки мебели. Заранее зная, что и как произойдет, и имея немалый стаж «пребывания в болезни», я завел массу всяких приспособлений для того, чтобы относительно безболезненно перенести болезнь, почти не меняя образа жизни и не теряя даром времени. Разным фазам болезни соответствуют и различные типы занятий. Давать подробные советы не имеет смысла, поскольку у других людей — другие болезни.

Тем не менее, болезнь остается болезнью, и как ее ни приручай, без лишений и недомоганий не обойтись. Однако тот путь примирения, **непротивления** и сотрудничества с болезнью, ненасильственного с ней взаимодействия, понимания ее природы, места и значения ее в жизни отдельного человека, который я в общих чертах обозначил, меняет статус этого явления и сам подход к нему. Болезнь становится освоенной, включенной в круг привычного житейского существования как органическая часть моего целого развития и даже как некая базовая ценность.

Совершенно очевидно, что моя неразлучная спутница никем мне не навязана, не подброшена, не пришла с улицы и не спустилась на парашюте. Она возникла во мне и выросла вместе со мной. Она такая, какая только и могла зародиться в глубине моих недр. У человека могут быть некрасивые уши и кривой нос, однако владелец этих неудачных подробностей не хватается за нож.

Данное обстоятельство предопределяет нетрадиционный образ поведения больного. Я не борюсь с болезнью, не протыкаю ее шпагой, не пичкаю снадобьями. Некоторым образом я забочусь о ее здоровье: ведь это же *моя* болезнь. И поэтому я терпеливо и достойно, от начала и до конца переживаю ее нашествие, следуя естественному ходу вещей. В этой ситуации нет смысла обращаться к посредникам. Свои отношения с болезнью я выстраиваю тщательно и бережно, как с любимой женщиной, не прибегая к посторонней помощи. Мне кажется, что без нее моя жизнь была бы совсем иной, и сам я был бы совершенно другим человеком.

И еще одно, на мой взгляд, вполне резонное, но в чем-то, вероятно, и эпатажное предположение.

Вовремя и периодически появляющаяся болезнь, если так можно выразиться, заполняет все «болезненное» про-

странство, отведенное одному человеку. Для других хворей, особенно для вирусных и заразных, просто уже не остается места. Нельзя же сразу заболеть двумя похожими болезнями. Самый весомый аргумент в пользу моего допущения — опыт собственной жизни. Уже несколько десятилетий кряду я не изменял своей болезни и в порочащих связях с другими болезнями не был замечен. Этот факт имеет и документальное подтверждение.

Подобно дикому зверю, который метит свою территорию и не допускает на нее хищных собратьев, моя болезнь охраняет меня от посягательств чуждых хворей. Я сравнил свою болезнь со зверем, но это, конечно, ласковый и нежный зверь. Можно было бы даже сказать что-нибудь экстравагантное, типа: моя болезнь меня бережет. Но лучше я воздержусь от такого рода пророчеств.

Когда она приходит, я испытываю смешанные чувства, а когда оставляет меня, то облегчение и грусть присутствуют в моем сердце примерно в равных пропорциях. В паузах между ее появлениями иногда думаю о ней, и мне как будто ее не хватает.

Порой я задаю себе смешные вопросы: где она, что с ней, с кем она проводит время? Она, как судьба, ощутима, но невидима, постоянна, как вера, капризна, как любовь.

Дневник моих наблюдений представлен в этих записках весьма фрагментарно. Многие заметки и размышления остаются необнаруженными. Возможно, они станут частью более обширного сочинения о природе болезни. Если люди сумели подчинить себе диких животных, заставили работать на себя пар и воду, мириады невидимых молекул, почему же они не могут приручить *собственные* болезни и повернуть их течение в благоприятную для себя сторону?

Если нам ничего не известно о полезных свойствах растения, мы называем его сорняком. Столь же мало знаем мы и о положительных началах болезней. А они, как и животные, бывают дикие и домашние. Ведь даже тигры поддаются дрессировке. И популярное выражение «букет болезней» может приобрести совершенно иное значение.

Болезнь — это материк, большая часть которого скрыта под водой.

ШУМ СЛОВАРЯ

Не помню, кто первым произнес эту фразу, но сказано здорово. Чем дальше уходим в глубь словаря, тем глуше становятся внешние звуки. Зато равномерно нарастает другой, спокойно-величавый шум, который можно услышать только в заповедных северных лесах. В этих словарных чащах и рощах так легко найти успокоение от невзгод, навсегда затеряться в этих нескончаемых столбцах и почувствовать себя обладателем несметных сокровищ.

Как странно и как печально, однако, что очень многих слов из этого заповедного источника мы никогда даже не узнаем и еще большее их количество ни разу не вставим в строку или в публичную речь.

Эти словарные шеренги, батальоны и полки непознанных слов проходят через мои сны, тревожат мое воображение в ночной тишине и ясным днем. Эти нетронутые, неприкосновенные слова бередают мою душу, как нецелованные губы, как нерожденные дети, как покосившиеся ворота когда-то оставленного мной родного дома.

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Быстрыми шагами она пересекала комнату по диагонали, делала резкий поворот и шла обратно.

Вдруг ринулась к роялю, стоящему в углу и, не садясь, мгновенно пробежала пальцами по линейке клавиш. Громкие, бравурные звуки, отскакивая от закрытого окна, моментально переполнили комнату, заглушая шум проходящего рядом лифта.

Но девушка, припав на краешек стола, броскими порывистыми движениями черкала что-то на белом листе бумаги. Ее глаза лихорадочно блестели...

Спустя минуту, когда седая женщина распахнула дверь и вошла в комнату, в открытое окно хлынул поток свежего воздуха. Он подхватил исписанный листок и закружил его над столом.

Крышка рояля была откинута, и, казалось, что клавиши еще вздрагивают и страстно ждут новых прикосновений.

ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА

Там, где она проходит, светлеют глаза и цветы распускаются особенно пышно. Там, где ее нет, умножается зло и растет мерзость запустения. Она прекрасна, если наша душа открыта красоте. Она необходима, чтобы воодушевить идущих на битву и чтобы склонить сердца могущественных к добру и милосердию.

Иногда она сиятельна и великолепна, а иногда проникает в обитель наших чувств, как легкое дуновение из сада утонченных состояний.

Во всей Вселенной выше ее только вера, а любовь — ее сестра и помощница.

Путник, я не спрашиваю, куда ты идешь, но если ты не несешь ее в своем сердце, то на том месте, где ты однажды остановишься навсегда, воздвигнется черный камень, на котором будет начертано: Несчастный! Ты так и не прикоснулся к ней. Зачем же ты приходил в этот чудесный мир — лучшее творение Аллаха!

ОНА

Сегодня она как-то особенно грустна. Солнечный луч, пробивающийся в окошко, падает мимо ее плеча. Когда занавеска начинает трепетать и напрягаться, какие-то блики пробегают по ней, заглядывают в глубину, и там, в лилово-фиолетовом пространстве, мерцает слабое свечение, словно на дне колодца. Это ее уголок. Пожалуй, самый уютный в квартире.

Когда я далеко от дома, то вспоминаю прежде всего этот уголок и ее. Часто думаю о ней. Мне все кажется, что ей холодно и одиноко в своем углу, что она достойна лучшей доли.

То и дело подбегаю к окну, проверяю, надежно ли прикрыто. Сквозняк может оказаться для нее смертельным. Однажды мне приснился кошмарный сон: я видел ее без дыхания лежащей на полу.

Знала она и лучшие времена. Сколько здесь было красивых цветов, пышные букеты буквально окружали ее со всех сторон.

Почему она так печальна сейчас, словно опустевший в зимнюю пору домик на берегу моря?

Несколько раз я принимался за письмо к ней, но останавливался на второй строке... Что я скажу ей, и как быть с письмом? Отправить по почте? Отдать ей?

Нет, мне вовсе несмешно. Ситуация, скорее, трагическая. «Сколько сердец — столько и родов любви», — гласит старинное изречение. Наверное, я буду не очень неправ, если предположу, что к огромному каталогу человеческих симпатий прибавилась еще одна карточка.

КОНАКОВСКИЙ БОР

Коричневое и зеленое. Два цвета преобладают здесь, в этом большом пространстве между землей и небом. Смолистые стволы возносятся куда-то туда — в беспредельную даль неба. Не хватает взгляда, чтобы обнять их сразу, в одном прикосновении. Про эти сосны хочется сказать — могучие, первобытные, доисторические. И земля у их подножий — песчаная, сухая, пересыпанная иглами — усиливает ощущение древности, исконности, первозданности. Царство темно-рыжих, каштановых, светло-шоколадных оттенков. Зеленое начинается много выше, где-то там, на воле, и заканчивается мощношумящими кронами.

Здесь почти нет травяного покрова, кустарника, подлеска. Можно смело входить сюда, как в залу, обставленную бронзовыми колоннами: просторно, светло, таинственно. Здесь нет соседства нескольких лесных поколений. Все сосны как на подбор: высокие, недосыгаемые. Если встать у одной из сосен и смотреть вверх — чувствуешь себя на дне гигантского голубого колодца.

Солнце просвечивает и прогревает насквозь всю площадь бора: каждый ее сантиметр напоен солнечным сиянием, настоян сухим хвойным теплом, смолистым запахом

коры. В бору невозможно заблудиться: светло и привольно ступаешь здесь, почти как по проспекту. Но все-таки это не проспект. Любуйся далекими вершинами, но и под ноги не забывай смотреть. Нередко путь преграждают крепкие тугие плети — то здесь, то там узловища корней вспарывают землю.

В бору почти нет грибов. Разве что случайно сверкнет вдали изящная сыроежка. Но что за гриб — сыроежка! Куда заманчивее собирать шишки. Их в бору великое множество. Толстые, растопыренные — сосновые; узкие, гладкие — еловые. В бору удивительно чисто. Шишки расположились весело и нарядно, как игрушки на витрине. Собирай полное лукошко. На сосновых шишках хорошо развести самовар. Чай из такого самовара — целая поэма.

Среди парада сосен кое-где в низинах встречаются и ели. Мрачная, влажная их зелень резко отличается от звонкой сосновой желтизны. Если сосна вся устремлена вверх, то ель, наоборот, стремится распластаться над землей, слиться с ней. Сосны — каждая сама по себе. Елки жмутся в кучки, помогают друг другу, образуют колонии. Возле ёлок растет папоротник. Недвижимы и загадочны кусты папоротника — пришельцы из далеких тысячелетий. Будто по ошибке забрели они сюда, не в свою эру. В папоротниках кое-где краснеют великаны — мухоморы. А по приметам, там, где мухоморы, быть и белым грибам.

Небогата растительность в бору: кустики брусники с лакированными листьями и разноцветными ягодами, кое-где белёсый мох, темные островки черники. Пустынно у подножия, ибо идея бора — стремление вверх. Коричневое переходит в зеленое, а зеленое — в голубое. Там, в голубом просторе, плывет малое облачко, и кажется, что вот-вот зацепится оно за верхушку исполинской сосны. В ветреную погоду шум сосен громкоголосен, как морской прибор.

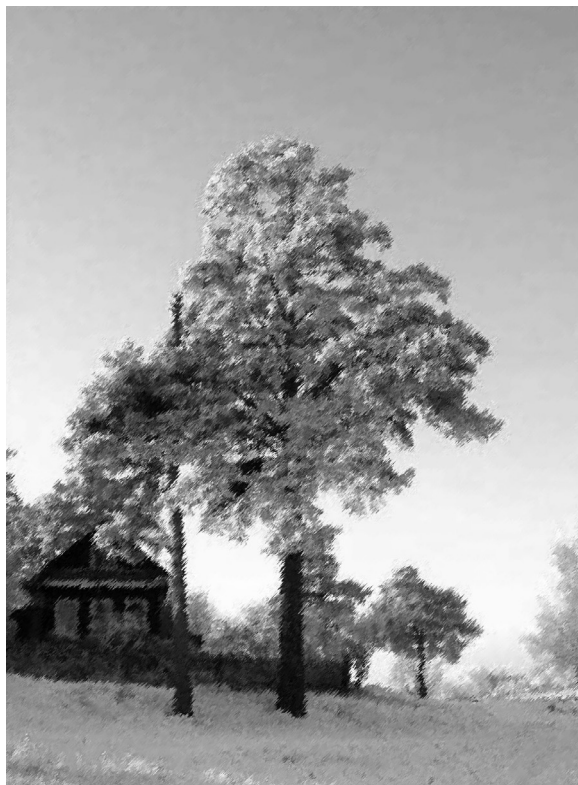
Славное дерево — сосна! Изо всех сил тянется оно наверх, жертвуя ветками и побегами, только бы ощутить головокружительную прелесть высоты, гордо оглянуться на своих сестер и быть на «ты» с голубым безбрежным маевом.

Станислав Медовников

Полдень. Зной. Легкий звон стоит в бору. Задумался заповедный бор. Сколько длится это молчание: часы или века?

Сосны и тишина, коричневое и голубое, зеленое и возвышенное — все склоняет душу к сосредоточенности, к неспешному размышлению. Как славно бродить по бору, по этим высоким хоромам, по спокойным косогорам, по дружественным пескам. Ровный шум сосен напоминает о вечности, о беспрестанном движении жизни. Уходя, брось монету в россыпь хвои, как в фонтан. Вернуться, непременно вернуться в эту сосновую страну, в этот целительный воздух, в эту бронзу и зелень.

МЕЛЬПОМЕНА



ОБ АКТЕРЕ И ПОЭТЕ

(фрагмент)

Владимиру Федорову

В некотором роде театр не только воспроизводит и оглашает пьесу, выводя ее в зрительно-осязаемое субстанциональное состояние, но еще и продолжает, и завершает ее, открывая ворота уже в другую сценическую жизнь.

Аура сцены, вся атмосфера театрального миротворения удесятерят силы актера, и в счастливые моменты вдохновения на глазах изумленной публики он, преодолевая свою природную ограниченность, возносится над пространством унылой повседневности. Тем более что и нет никакого одного «правильного» Гамлета, а есть многочисленные и многоликие образцы — от Пола Скофилда до Олега Янковского.

Теперь, пока еще не воцарилась тишина, не объявляя антракта, освободим сцену от всякого ненужного хлама и оставим на ней только двух главных игроков — актера и поэта.

Последний — первотолчок и первоисточник, порождающий слово, мысль, идею, мир, в конце концов. Он — пункт отправления, его замысел единствен и самодостаточен, никто не в силах вторгнуться в его священные пределы. Поэт обращается к миру со своим посланием лишь в тот момент, который сам изберёт безо всякого принуждения. В поэте все уже есть в самый миг творения, ему не надо никакого вспомоществования со стороны, ибо все его упования, сомнения, противоречия и пророчества содержатся в одном месте, и никто не сможет это место отыскать, кроме самого автора.

Актер расколот надвое. В нем тоже сокрыт живой ключ творчества. Его палитра, его кисти и краски — он сам в полный рост и во весь голос, «от гребенок до ног», от первого вдоха до последнего волоса.

Есть горн, огниво, меха, не достает только горючего материала для возжигания огня. Актер (буквально: действующий) ищет его повсюду и находит в слове, в предмете, в мелодии, в пластике, в мимике, в жесте. Нетерпение сердца необходимо поместить в панцирь драматического сюжета.

Поэт может воссоздать образ актера в своем произведении, внести театральное начало в свое творческое поведение. Сумеет ли актер не сыграть, не изобразить, а *преобразиться* на сцене в поэта в полной мере. Если да, то актер занимает место поэта, и тот становится только частью его внутреннего мира, одной из многих ролей. В этом случае само существование поэта становится уже не совсем обязательным.

В другом варианте, когда актер не способен стать равновеликим и равнобытийным поэту, мы уже никогда не увидим на сцене подлинника — неутерянного и неурезанного Гамлета, Сирано де Бержерака и т.д. Они на все времена останутся недоовощенными. Как же быть и что делать поэту?

А что если мы забудем на мгновение о том, что разделяет актера и поэта и что отличает их друг от друга, а вообразим того и другого в двуедином творческом тандеме, где они пребывают в нераздельном и неслиянном состоянии. Поэт — это сокрытая от зрителя, необнародованная сторона актера, его внутренняя форма. В свою очередь, актер — предельно выдвинутая и обращенная к публике самая очевидная и осязаемая грань творческого поэтического начала.

Актер — это поэт, каждый раз заново и в присутствии почтенной публики сочиняющий все свои реплики и репризы, а поэт — уже в обратном отсчете — актер, оставшийся на сцене в одиночестве, на краю перед пропастью зрительного зала, напрочь забывший текст своей роли и только самим собой, своей речью, своей пластикой и жестами, телом и всем своим существом стремящийся заполнить зияющую амбразуру пустоты.

Драматический поэт свои слова щедро раздает другим, скромно пребывая в мелком шрифте ремарок. Актер чужие слова выдает за свои, но произносит их так, что никто не усомнится в том, кто здесь автор и протагонист.

В высшей точке своего сценического бытия актер непременно становится поэтом. В моменты глубокого творче-

Станислав Медовников

ского сосредоточения, в окружении своих мотивов и метафор поэт ощущает себя актером своего единственного круглосуточного художественного театра.

В театре одного актера поэт может предстать в растворенном состоянии, на молекулярном уровне.

В театре поэта актер должен находиться в круге первом среди перемещенных и вымышленных лиц. Актер или умирает в поэте, или уходит со сцены. Поэт расстается с актером как только выходит на сцену. Но пребывая на сцене нашей жизни в своем настоящем качестве, оба они заслуживают наших аплодисментов.

МЕЖДУ ПОДИУМОМ И СЦЕНОЙ

I

Весь мир — театр. Все люди лицедействуют. Это истины со стажем, но они ничуть не устарели. В античном театре актеры, чтобы внушительнее выглядеть и привлекать к себе внимание, вставляли на особые деревянные подставки — котурны. Но разве шикарная сумочка в руках кокетливой женщины, яркий галстук или шейный платок на импозантном мужчине — это не те же самые котурны?

Наша одежда и сопутствующие ей этикетные аксессуары — это наш маленький театр, наш личный праздник, который всегда с нами, если, конечно, мы достойны праздника.

В театре малая группа актеров заражает своим эмоциональным настроением сотни театральных зрителей. То же и в движении моды. Творение художников и модельеров, не без помощи рекламы, конечно, утверждает какой-либо новый стиль или направление сначала среди немногих своих приверженцев. Ничтожное меньшинство устанавливает, в конечном итоге, диктат своего вкуса над большинством. Ведь моде сопротивляться невероятно трудно: попробуйте, например, надеть калоши, когда все кругом ходит без них.

Совершенно очевидно, что зрелищность — это одно из основополагающих начал театра. Однако театральность может иметь место и за его пределами. Театральность может проявляться в речи и в походке, в особом способе рукопожатия или в манере завязывать галстук. Театрально все, что поднимается над уровнем утилитарности и жаждет привлечь к себе повышенное внимание. Азбука нашего гардероба не имеет еще системного обоснования, тем не менее, и без науки ясно, что одежда может прикрывать или, напротив, обнажать, призывать или отталкивать, служить сигналом бедствия или возвещать о празднике. Как и в храме Мельпо-

мены, в обычной жизни жанр события предопределяет выбор и стиль нашего костюма.

Антон Павлович Чехов, автор великих пьес, но в обыходе человек, бесконечно далекий от всякой театральности, собираясь в гости к Толстому, никак не мог подобрать себе брюки. «Надену широкие, — размышлял автор «Вишневого сада», — решат, что я нахал, а если узкие, меня сочтут скрягой или мещанином».

Входящие в жизнь новые поколения отвергают сложившиеся каноны и вносят в декорацию эпохи новые, необычные формы, краски, линии. Это подобно первому сценическому выходу актера: очень важно уже с порога заявить о себе уверенно и громко. Линяют краски, ветшают формы, ломаются линии. Мода, словно старый актер, склоняется к шаблону, рутине, графарету. Но где-то там, за сценой, накапливается дождь перемен, готовится новая революция линий и красок.

Театр «уплотняет» и гиперболизирует реальность, как бы собирая ее в фокус. В свою очередь, демократизация моделей — это концентрация одежды, «сгущенное» представление о многообразии ее форм и типов. Явления реальной жизни искусство театра «доводит» до предельной ясности и последней четкости очертаний. Жизнь на театральных подмостках предстает в своих драматически-заостренных и напряженно-крайних началах. А мода — это не что иное, как театр одежды, и здесь не о показах и демонстрациях речь, а исключительно о том, что мода «доводит до кипения» и выставляет на всеобщее обозрение некие характерные тенденции и предпочтения, присущие данной эпохе. В чистом виде мода — всего лишь абстракция. И так же, как не существует в природе некоего идеального дерева, а есть только конкретные березы, сосны и осины, так и в реальной жизни никто не одет по моде в идеальном смысле. Мода — это всегда сумма бесконечных приближений.

Театр — это причудливый мир тайных сигналов, подспудных намеков, сверкающих откровений. Дух иллюзий, блеск метафор, шум пророчеств, генетически присущих театральному языку. В этом смысле «словарь» одежды обладает

ничуть не меньшей знаковостью и содержит в себе немало зашифрованной информации. Шляпа, надетая набекрень, цвет и форма приколотого к блузе букетика, шарф, небрежно переброшенный через плечо, — все это свидетельства тех или иных психологических состояний, предупреждение, призыв или угроза. В средние века доблестный рыцарь с трепетом и волнением ждал утреннего выхода дамы своего сердца. И когда в первых лучах солнца сеньора представляла в ореоле зеленых оттенков, сердце кавалера вспыхивало радостью, преобладание синих и голубых тонов означало неопределенность и как бы промедление чувств, а диктатура красного цвета была неопровержимым признаком решительного отвержения. Суровый приговор не оставлял бедному рыцарю и капли надежды.

А каким выразительным «переговорным устройством» становился веер в руках восточной красавицы! В наклонах и поворотах, в быстрых и медленных движениях веера скрывался целый алфавит чувств и ощущений. Прочитать этот моментально ускользающий текст мог только человек, хорошо искушенный в метафизике лукавых взглядов и мимических мелочей. «Веерный» диалог — это высочайшее искусство невербального общения. И на этой почве рождались тонкие кудесники-магистры и гроссмейстеры куртуазных наук. Выныривающий из-за веера глаз луноликой красавицы посылал «снаряд» такой сокрушительной мощи, под напором которой вдребезги разбивались сердца, лопались состояния, ко всем чертям летели репутации, а порой рушились и могучие империи.

Драматический или оперный театр — своеобразный музей одежды всех времен и народов. Плащ Онегина или фрак Чацкого, извлеченные из затхлого театрального реквизита, чудесным образом преображаются на плечах вдохновенного артиста и, освобождаясь от пыли столетий, становятся вдруг впору и нашему современнику, привлекая сердца и возбуждая нашу тоску по каким-то утраченным совершенствам.

Платье Ермоловой, мундир Станиславского, сюртук Качалова, пиджачишко Евг. Леонова, футболка Высоцкого оказываются снова «модными» как притягательные моде-

ли и светлые ориентиры наших лучших душевных устремлений.

Мой внутренний мир — это непрекращающийся театр для себя, а моя наружность, мой костюмный облик и поведение — это мой хеппенинг, театр для всех. В зависимости от амплуа и способностей, времени и места моего появления я могу разыгрывать перед почтенной публикой трагедии и комедии, водевили и фарсы, оставаясь в то же время и зрителем, и персонажем спектаклей других режиссеров. Один театр наезжает на другой, тысячи мизансцен возникают и гибнут каждую минуту, но в этой игре, итог которой известен заранее, я все же могу восторжествовать хотя бы на несколько мгновений.

В огромном театре жизни, простирающемся от Москвы до Бог весть каких окраин, каждый из нас играет свою роль среди светлых и мрачных декораций истории, а поскольку голые короли нынче не в моде, то преуспеть в этой всеобщей схватке больше надежд у того, кто своему сокровенному достоянию находит органически точное внешнее воплощение. В этом случае есть шанс сыграть в хорошем спектакле сквозным действием и единым стилем.

II

Вскормленный молоком матери может оказаться человеком. Человек, если повезет, может быть актером. Но актером невозможно только *быть* — им еще надо *стать*.

Однако недостаточно *просто стать* — необходимо еще расти над собой.

Но расти можно только вместе с ролью. А роль *круглая* — вдруг закатится куда-нибудь.

На самом деле актером может сделаться лишь тот человек, кто не хочет быть никем другим. Но быть другим — это профессия. А чтобы овладеть профессией, следует владеть самим собой. Но чтобы быть самим собой, надо стать *кем-то*. Но если ты — кто-то, ты уже другой. Стало быть, я — это он, а он — это ты... Так и крыша может поехать.

В конце концов все просто: найти в себе *другого* и не потерять при этом себя.

Обыкновенный человек выдавливает из себя раба *по капле*, а актер *исключительно* из себя выдавливает и раба, и короля, и нищего, и городничего, комиссара Мегре и собаку Баскервилей. Так как больше неоткуда (выдавливать).

Актер — *первый*, кто встречает натиск зрительских ожиданий, и *последний*, кто еще в силах спасти проваливающийся спектакль.

Драматург может спрятаться за режиссера, режиссер — укрыться за декорацией, критик уйдет в подтекст, а у *актера нет убежища* — он остается на самой передней линии — лицом к лицу с публикой. На *его стороне* — только внешность, голос и пластика. И Господь Бог, если снизойдет.

Тот актер хорош, который, уходя в себя и выходя из себя, *помнит*, зачем он это делает, и еще тонко улавливает даже самый невнятный ропот и гул зала, а на *вопрос* «Быть или не быть?» — отвечает: «Есть! Я здесь, *с вами*, сейчас или никогда».

Режиссер умирает в актере условно, а актер — *на сцене*, каждый раз, всерьез и надолго.

Ну, конечно же, *это все и о нем* тоже, о человеке из целой глыбы, с широкой душой и крупной статью. И, кроме того, у него здоровый нюх и звериное любопытство к жизни. Он не то чтобы юн, но и не стар, не балагур и не зануда, не трагик и не комик, не худ и не толст, а в том объеме и количестве, какое только соизмеримо с его природой.

Он узнаваем, но *лишь в той мере*, в какой мы способны его постичь, а неизвестное творческое пространство *решительно превосходит* известное и знакомое.

— Вы спросите, а *где он*?

А он находится в той части света, которой еще нет на карте. Но карты уже розданы, игра пойдет крупная, ибо на *кон* поставлена судьба.

Он *открывает* себя до конца и сам становится открытием. Он теперь на том перекрестке жизненного пути, когда оба берега одинаково далеки.

На голове шляпа, за плечами котомка, в руках посох и белый конь удачи пасется на зеленом лугу.

Итак, встречайте на ближайшей станции *могучего* путешественника, совершающего вояж из Герцогства Ромео до Королевства Лира.

В ПЬЕСЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ...

Театр — это единственное в мире место, где мы имеем возможность так глубоко и так безоглядно со-чувствовать и со-переживать другим людям, столь далеко и откровенно заглядывать в их сугубо внутреннюю жизнь, в их заповедные чувства, в их души и сердца. Эти 150 минут, проведенные в зрительном зале, — одни из самых счастливых в нашей жизни. Только в театре возникает эта спасительная атмосфера предельно-трепетного приближения к самым обнаженным основам человеческого бытия. И потому жизнь, в которой она начисто отсутствует, неполна и неполноценна.

Некогда бывшие чем-то вроде прислуги, презираемым сословием шутов и скоморохов, в нашем мире и времени популярные актеры в народном признании и любви далеко опережают и гораздо возвышаются над политиками, поэтами, композиторами, не говоря уже об ученых. Мне кажется, что секрет нашего феноменального, иногда просто несоразмерного, обожания состоит в том, что мы невольно переносим на знаменитых артистов наши лучшие и самые заветные надежды и упования и вместе с ними переживаем те высокие моменты и вдохновенные мгновения, которых нам по разным причинам в «первой реальности» пережить не удалось. В пьесе нашей жизни лучшие роли мы отдаем им. Их устами произносятся наиболее доверительные и выстраданные нами реплики и монологи. Мы бы тоже могли, как Тристан и Изольда или как шиллеровские герои, но... тысячи причин и миллион терзаний.

Удивительное, однако, дело: наши кумиры, наши «доверительные лица» пребывают где-то вдали от нас — в столицах и прочих фешенебельных местах, играют в прославленных театрах, снимаются в нашумевших фильмах. Между тем по улицам нашего города ходят другие актеры. Порой они оказываются совсем близко от нас, буквально рядом, ка-

саясь плечом, на расстоянии глаз, но мы не замечаем их, даже в упор не видим. Что за странная слепота и так ли уж непомерно велика разность меж теми и другими.

Сравнительно недавно в рамках фестиваля «Квітневий Благовіст» вместе с музыкантами перед донецкой публикой предстал народный артист Василий Лановой, прочитавший в пределах музыкально-литературной композиции фрагменты из пушкинской повести «Метель». Море цветов тонуло в океане всеобщей любви, волны которой поднимались до самых колосников. Никто даже и не заметил, что голос этого замечательного мастера изрядно потускнел и слегка дребезжит. Любовь не знает середины. Если бы на долю кого-либо из наших, донецких актеров выпала хотя бы сотая частица этого необъятного обожания...

В отличие от поэта актер невозможен без моментального отклика, без мгновенной реакции, без грома аплодисментов, без шума оваций, без криков «браво!» Плохо, если сцена запружена необязательным народом и захламлена факультетом ненужных вещей. На пустынной сцене актер замечен и велик.

Драматический актер в гораздо большей степени, чем любой другой деятель искусства, зависит от «физики», от материи и времени. Как непоправимо скоро проходит возраст Ромео, возраст Чацкого, «бедного Марата», Тузенбаха и Вершинина, и — оглянуться не успеешь — уже маячит на сценическом горизонте скорбная фигура старины Фирса — последней остановки русского актера. Хорошо бы не остаться на унылом перроне, а успешно запрыгнуть в уходящий поезд. В театральной провинции зависимость актера возрастает многократно: у него так немного возможностей. Он, подобно Орфею, должен идти все вперед и вперед, ни в коем случае не оглядываясь.

Актеры — и самые чуткие, и самые беззащитные люди. Мы смеемся над их сценическими проделками, щедро рассыпаем аплодисменты и... забываем после спектакля об исполнителях до их следующего сценического выхода. А жизнь актера проходит тем временем в молчаливом поиске, в тяжелых сомнениях и долгом ожидании. Желанная

роль для него — скорее счастливый случай, чем награда за верность и преданность Театру. Как сказал один знаменитый мхатовский актер: «Сыграть царя Федора — и умереть!» И умер всерьез, прямо на сцене, посреди спектакля. Это высший класс и квинтэссенция актерской судьбы. Однако на все есть воля небес. Каждую роль актеру необходимо «населить» собой, воплотившись и вочеловечившись. Дух — от автора, а душа и тело — от актера. От роли до сценического образа — долгое восхождение. Но и выходит исполнитель из роли не с пустыми руками — с драгоценным опытом другой жизни.

Искусство быть другим требует ежедневной готовности к самопожертвованию, к переступлению через себя, через собственные неустроения и негоразды. Актеру даже решительнее, чем поэту, приходится наступать «на горло собственной песне». Главный свой подвиг актер совершает не в ботфортах, не на котурнах, а в домашних тапочках. Если поэт все чужое вмиг делает своим, то актер, напротив, свое, кровное отдает другим. Актер ни на минуту не может освободиться от своего нерегламентированного творческого процесса и зафиксировать его окончательный результат. Свою тайную мастерскую он всюду носит с собой, не имея возможности сдать ее в камеру творческого хранения. Актер обречен нести свой крест до конца, его сетования и жалобы не рассматривает даже самая высшая инстанция.

Театры, как и монастыри, одни из самых древних строений на этой земле. И хочется верить, что театр по-прежнему находится в центре духовных устремлений и интересов человечества и в осеннюю его пору. А в самом средостении и переплетении всех прямых и ломаных линий театральной жизни остается актер. Каждый человек в какой-то отдельный момент, в малом промежутке сможет вдруг стать актером, а актер всю свою сознательную жизнь обязан превращаться в любого человека и в идеале — во всех людей. Труд сей — зело огромен и необъятен.

Когда падет занавес и стихнут аплодисменты, еще немножко задержитесь в зале и подумайте о тех, кто возвращает нам самые светлые состояния наших душ.

ЗАПИСКИ ИЗ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ЗАЛА

Латинское слово concerto первоначально означает «соревнование», «соствязание», «спор». С тех времен значение слова изменилось, но в нем сохранился смысл совместного действия, вовлеченности в него двух сторон. Есть некая тайна и неизъяснимая прелесть в живом, непосредственно-сиюминутном звучании музыки, а иначе что же заставляет человека оставить в этот зимний вечер свою теплую квартиру и, купив билет, занять место в холодном и, по первому впечатлению, не очень уютном зале. Ведь у многих дома горы кассет и ворох всяких дисков и записей с самой разнообразной музыкой. И аппаратура для воспроизведения наготове самая совершенная. А зачем вообще мы слушаем музыку, что она дает нам, и что такое музыка, в конце концов?

Пожалуй, вопросов слишком много для одного случая, но я и не надеюсь немедленно дать на них полные и окончательные ответы. Обстановка, среда, интерьер — все это непременно влияет на то, как мы слушаем музыку. И еще как! Один и тот же марш прозвучит совсем по-разному в привокзальном ресторане и в Большом зале Московской консерватории.

А здесь, в этом зале, я бывал в ту пору, когда он еще не носил имени Сергея Прокофьева. Другая эпоха шумела вокруг, другие деревья росли на улице Постышева, иные поколения толпились у входа в филармонию. Выражаясь языком охотников, «тяга» была замечательная. И не мудрено: Лев Оборин, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах, Виктор Пикайзен, Марк Бернес, ансамбль «Мадригал», «Виртуозы Москвы» — такие вот гости жаловали в Донецк в былые времена. Я назвал, разумеется, лишь некоторые имена. Приезд каждой знаменитости резко повышал тонус культур-

ной жизни города, возбуждал естественное любопытство, щекотал самолюбие. Но речь не об истории гастролей, хотя и приятно вспомнить о встречах с незаурядными музыкантами, тем более что иных уж нет...

Меня всегда поражало то обстоятельство, что в филармонии обитает какая-то совсем иная публика, нежели, скажем, в драматическом театре. Театральный зритель не скрывает своих чувств, он бодр, напорист, оживлен и разговорчив, он готов к активному переживанию и шумному веселью. На то и театр. Ведь театральный спектакль творится общими усилиями, как бы с двух сторон, яркость и выразительность — душа театра.

Филармоническая атмосфера отличается от театральной, как Букингемский дворец от ташкентского базара. Дело даже не в том, что на концерте нет большого движения, ярких и пестрых костюмов. Симфонический оркестр уже сам по себе — в высшей степени живописное зрелище. Но это все-таки внешнее обстоятельство, а суть состоит в том, что филармонический зритель одинок и единичен по самому своему статусу. В театре общий вздох вздымает сразу сотни грудей, заразительный смех перебегает из ряда в ряд, как пожар в степи.

В концертном зале не происходит ничего подобного. Стихия музыки столь могуча и неодолима, что она тотально окружает человека, охватывает его со всех сторон, словно плотным облаком. В этой ситуации человек оказывается оккупированным, отъединенным от других, и остается один на один с музыкой.

Музыка требует абсолютного внимания и полного забвения собственного существования. Неопытные слушатели невольно и незаметно для себя отключаются от музыки и уходят в свои внутренние размышления, а музыка остается только фоном. Нечего и говорить, что при таком раскладе не может быть полноценного восприятия музыки. На первых порах необходимо жестоко себя контролировать и беспощадно пресекать любую невольную попытку «ускользнуть» от музыки. Со временем такой «режим» станет привычным и необременительным.

У музыки есть одно уникальное свойство: она способна возвращать человеку все те счастливые мгновения, которые

он когда-либо пережил. Потому-то наше внимание и теряет нить непрерывного звучания. Сама музыка как бы «отсылает» нас по адресам наших былых переживаний. Это реальное противоречие, которое, видимо, невозможно преодолеть до конца. Особенно «коварна» в этом плане музыка великих романтиков: Шумана, Берлиоза, Шопена, Мендельсона. Эта музыка ярко и властно зовет нас за собой, в другую жизнь, в некую реальность высшего порядка. Музыка — это послесловие, то есть, та «засловесная» сторона жизни, та таинственная часть ее спектра, которая недоступна прямому наблюдению, но, когда слушаешь эти вдохновенные звуки, невозможно усомниться в том, что тайна существует.

В те волшебные мгновения, когда звучит Бетховен или Рахманинов, невозможно усомниться в том, что в мире бытия есть добро, истина и красота.

И еще некое *Высшее начало*, делающее значимым все наши волнения и страдания и придающее великий смысл всему, что совершается на кругах мироздания.

Конечно, есть на свете концертные залы куда более блестящие и роскошные, чем наш, залы, где вздымались руки великих дирижеров, где впервые звучали гениальные симфонии и сонаты. У зала имени Сергея Прокофьева пока еще скромная история.

Но главное все-таки — это ощущение единства всех атрибутов концерта, счастливое соединение дирижера, оркестра, интерьера и собственное ощущение высокой отрешенности от всего постороннего, житейски-мелкого и необязательного, всего того, что постоянно нам сопутствует во всех других помещениях и ситуациях. Эти два или три часа, что я нахожусь здесь, — время самой нестесненной свободы, какого-то драгоценно-редкого, почти идеального состояния души. Если нам суждено когда-нибудь встретиться со счастьем, то лучшее место для этой встречи просто невозможно вообразить. Здесь меня не достанет никакая беда, не коснется никакая пошлость и злоба. Музыка стережет у всех ворот, зорко смотрит со всех своих башен и спасает, и охраняет меня от непрошенных гостей, от недобрых чар и от порчи, и от тоски.

Стихнут последние аккорды, смолкнут аплодисменты, и надо будет возвращаться все в ту же неизбежную повсед-

Станислав Медовников

невность. Но я ухожу отсюда с обновленной душой, с тем драгоценным запасом духа, который, постепенно растворяясь, долго еще будет поддерживать во мне высокий строй чувств и полноту ощущений бытия. К тому же я еще вернусь сюда. Может быть, уже завтра или только через месяц. И радостно думать о том, что зал этот никогда не исчезнет, он всегда ждет каждого, кто жаждет снова и снова вступать на эту территорию, где беспредельно царит музыка, где вечно зеленеет надежда, пышно цветет любовь, крепнет вера, где гармония смягчает сердце, а мелодия возвышает душу.

Музыка остается с нами и звучит в нас до тех пор, пока наши сердца способны волноваться и дерзать. Самые замечательные настроения и превосходные состояния приходят со стороны музыки. Только она не подвержена распаду и тлению, ибо нет такой меры, чтобы измерить ее.

Как-то раз я сидел здесь один среди чуткой тишины и полутьмы опустевшего зала. Как будто я оказался в старинном уютном доме, хозяйка которого ненадолго отлучилась, неплотно притворив двери. Но все вокруг было переполнено ее присутствием, ее светлым духом, рассеянными всюду флюидами ее властительной энергии. Музыка никогда не покинет того, кто однажды ей присягнул и безоглядно поверил в ее целительное и спасительное начало.

Если ты не расстаешься с музыкой, то становишься богаче ровно на одну Вселенную.

БЛИЖНЯЯ ПРИСТАНЬ



СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДЫ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА

Владиславу Просцевичюсу

Лирика Юргиса Балтрушайтиса — заметное явление русской поэзии серебряного века. Литовец по национальности, уроженец глухого удаленного местечка, Балтрушайтис, обосновавшись в 90-е годы в Москве, довольно скоро обретает поэтическую известность и становится активным деятелем культурной жизни Москвы.

Он сотрудничает в таких популярных литературно-художественных журналах, как *Весы*, *«Золотое руно»*, *«Мир искусства»*, альманах *«Северные цветы»*, выступает как переводчик Ибсена, Гамсуна, Метерлинка. Плодотворные творческие планы связывают его с МХАТом, Московским Свободным театром, театром В. Ф. Комиссаржевской.

От первых стихотворных публикаций до выхода отдельного поэтического сборника Балтрушайтиса *«Земные ступени»* прошло 12 лет. За эти годы поэт пережил период напряженного становления, утвердившись в мнении критики и узкого круга почитателей как весьма своеобразная творческая личность и занял особое место в кругу своих поэтических соратников — русских поэтов-символистов.

Юргис Балтрушайтис никогда не знал славы и широкой известности среди русских читателей, но из уст признанных авторитетов и литературных мэтров он неизменно удостоивался самых лестных оценок и имел безукоризненную поэтическую репутацию. Высоко оценив стихи Балтрушайтиса и имея также ввиду творчество литовского художника и композитора Чюрлёниса, Горький заметил: *«Мир будет удивлен литовцами не меньше, чем был удивлен норвежцами»*. Валерий Брюсов назвал Балтрушайтиса *«истинным поэтом со своим тоном, своей темой»*. Эти оценки, высказанные корифеями, никто не подвергал сомнениям, и они закрепились за поэтом навечно.

В поэзии Балтрушайтиса можно выделить несколько постоянных мотивов, сопровождающих весь его творческий путь и придающих его стихам выразительную однородность. Может быть, как никому другому из русских поэтов-символистов Балтрушайтису был свойственен пафос созидания, мотив «достройки» мира и его преображения:

Божий мир еще не создан,
Недостроен Божий храм, —
Только серый камень роздан,
Только мощь дана рукам.

Путь к храму, как известно, долг и тернист, но лирический герой «Горной тропы» несет в себе идею пути и обладает волей к преодолению. Упорное и неутомимое движение к сияющим высям — это не только поэтическая декларация, но и самая суть творческого склада поэта, внутренняя форма его души. Неслучайны в этой связи названия многих стихотворений Балтрушайтиса: «Восхождение», «Приближение», «Перевал», «Ступени», «Стучись, упорствуя, Кирка».

На этом крестном пути, в этом восходительном движении к горным кручам немного бывает охотников и добровольцев. Но тот, кто непреклонно продвигается к цели и достигает головокружительных высот, испытывает особое, ни с чем не сравнимое состояние, которое можно определить как восторженное одиночество.

Мы — туманные ступени
К светлым высям божьих гор,
Восходящие из тени
На ликующий простор.
От стремнины до стремнины —
На томительной черте —
Все мы гоним сон долинный,
В трудном рвении к высоте...
Но в дыму на свисшей тучи
Меркнут выси, и блажен
Кто свой шаг направил круче
По уступам серых стен...

Лирический герой Балтрушайтиса, не встречающий часто отклика и понимания «среди людей», ощущает свою высокую причастность к необъятному Божьему миру, свою слиянность со всей Вселенной.

Вячеслав Иванов, художественный мир которого тесно соприкасается с поэтической территорией Балтрушайтиса, отметил у своего младшего единомышленника «художническое целомудрие» и «воздержание от приманок». Трудно найти другое, более точное слово для характеристики поэтического мировоззрения автора «Горной тропы».

Творчество Балтрушайтиса — благородный пример рыцарственно-высокого и самоотверженно-бескорыстного служения поэзии. У литовского поэта практически нет случайных, слабых, незавершенных стихотворений. Его стихам присущи устойчивость, равномерное напряжение всех частей и частиц текста. В этих строгих и выверенных порядках мы не найдем, пожалуй, взрывной энергии, неожиданных всплесков, «буйства глаз и половодья чувств».

Иногда возникает ощущение, что все стихи Балтрушайтиса как бы выстраиваются в один большой монолог, художественная цельность которого проистекает из целостности авторского миропонимания, от последовательных усилий поэтической воли. Но в этом единственном ряду заложено и одно, впрочем, плодотворное, противоречие.

Противоречие возникает между вселенским пафосом его стихов, огромностью его творческих замыслов, беспредельностью устремлений и классической упорядоченностью, традиционной ритмикой его стихотворений.

Вершин своего поэтического творчества Балтрушайтис достиг в московский период своей жизни. После Октябрьской революции, став гражданином Литовской Республики, Балтрушайтис обращается к родному языку. Характерно, что в литовских стихах Балтрушайтиса гораздо меньше вселенского пафоса, метафизических начал. В них преобладает земное начало, конкретика малого ландшафта родных окраин. Впрочем, Литва в творчестве русско-литовского поэта навсегда осталась полупризрачной, полULEГЕНДАРНОЙ страной.

Творчество Юргиса Балтрушайтиса — яркая и чрезвычайно любопытная страница европейской поэзии XX века, прочитанная еще далеко не полностью.

ТРИ ИСПИСАННЫХ ЛИСТОЧКА

Слава посетила его лишь однажды, словно синяя с золотым верхом карета однажды остановилась прямо у крыльца его дома. Из кареты вышла высокая строгая женщина, приветливо помахала поэту рукой и тотчас уехала.

Поэт, о котором я хочу рассказать, не был моим кумиром. Я не засыпал и не просыпался с его именем на устах, не заучивал его стихи, не повторял и не твердил их как иступленный. На широком поэтическом горизонте он располагался, скорее, где-то с краю и в некотором отдалении. По наблюдению друзей, Левитанский был одновременно похож на Лермонтова и на Бальзака.

Самое постыдное в ситуации встречи может случиться, если поэт начинает актерствовать, жаждет понравиться. Между тем, герой вечера был настолько полон и велик в самом себе, что даже слабое представление о каких-либо перевоплощениях казалось совершенно невозможным.

Я видел сон — как бы оканчивал
из ночи в утро перелет.
Мой легкий сон крылом покачивал,
как реактивный самолет.

Он путал карты, перемешивал,
но их листая вразнобой,
реальности не перевешивал,
А заполнял ее собой.

В конце концов, с чертами вымысла,
смешав реальности черты,
передо мной внезапно выросло
мерцанье этой черноты...

Я слышал только монотонный гул, но каким-то непонятным образом строка за строкой цепко и целиком, мощно западали в сознание и выстраивали там отдельное и прочное здание, оставаясь на долгое долго. Это был некий незнаемый мною опыт «прямой речи». И никакие посредники здесь были уже не нужны. За стихами столь прекрасной выправки не чувствовалось мучительных поисков, муравьиных усилий преодоления. Ощущение было такое, будто мастер быстро проходит вдоль огромного полотна, лишь кое-где легко касаясь холста. Картина вырастала как бы сама из себя. И все ее части и детали отличались соразмерностью и безукоризненной ровностью.

Затем пришли новые поэтические вести, новые мотивы, новые книги. Стихи были пленительны и хороши. Но мне думалось, что этот мужественный и стойкий человек открывает внемлющим только малую частицу своего внутреннего мира. А за явленными стихами открывается еще нечто — самое сокровенное и значительное. Но это «нечто» так и осталось несказанным и невысказанным до конца.

Спустя десять лет, сырым мартовским днем, Юрий Левитанский читал стихи в актовом зале нашего университета, тогда еще единственного в Донецке. Голос поэта звучал словно издалека, глухо и сдержанно. Почти полный зал слушал с вежливым вниманием, но немного отстраненно, без встречного движения. Общего воодушевления, трогательного единения с автором — ничего этого не было. Наступали иные времена. Поэзия дружно отступала по всем направлениям, как потерпевшая поражение армия.

Когда народ устремился к выходу, лишь три-четыре поклонника неловко окружили поэта. Он скупой отвечал на дежурные вопросы, подписал две-три книжки, и разговор как-то сразу иссяк. Мне захотелось сказать что-то взволнованное, горячее, трепетное. Меня остановили его «неподпускающие» глаза, его непреклонное, будто изваянное скульптором, лицо оставалось непроницаемым. Было в нем нечто от мужества и стойкости древних римлян.

Больше я не встречал Юрия Давыдовича. Он медленно покидал арену, освобождая поэтическое пространство «ласковому маю» и «ночным снайперам». В середине девяно-

стых его не стало. Но что это значит! Если музыка прекращает звучать, разве она умирает?

Когда земля уже качнулась,
уже разверзлась подо мной,
и я почуял холод бездны,
тот безнадежно ледяной,
я, как заклятье и молитву,
твердил сто раз в течение дня:
— Спаси меня, моя работа,
спаси меня, спаси меня!..

Он ушел, не захлопнув, а только прикрыв дверь. Избранный им путь Юрий Левитанский одолел сурово и достойно, не сворачивая в сторону, не уклоняясь от ударов. Как будто странник завернул невзначай в нашу сторону и оставил на ступеньках крыльца два-три исписанных листочка.

ПОЧВА И СУДЬБА ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Владимир Соколов никогда не был модным поэтом, «притчей на устах у всех». Его имя не затаскали по площадям и закоулкам, строки, ему принадлежащие, не цитировали всюду и где попало. Он оставался за сценой, но его веское и честное слово всегда было значимым, внятными и твердым.

Едва ли стоит как-то особенно настаивать на том тезисе, что поэзия — это текучая, переменная, временная стихия. «Чудное мгновение» значит в ней много больше, чем «вот моя деревня». И если мы вспоминаем, что «все пройдет, как с белых яблонь дым», то совершенно очевидно, что нас меньше всего волнует вопрос о том, какие были яблони, какой породы... ведь все пройдет, и эти яблони затеряются за текстом независимо от местопроизрастания и прочности их древесины. Хотя «дым отечества» бывает нам иногда и приятен, однако, с другой стороны, у дыма, у воздуха, у вечности нет адреса и прописки.

Есть поэты — очарованные странники, но встречаются и те, которые надолго или навсегда прикипают к месту — к городу, реке, дому, даже к дереву и к мосту. Что Данте без Флоренции, Хафиз без Ширази, Лермонтов без Тархан? Попутно замечу, если верить энциклопедии, то детские годы великого поэта прошли в селе Лермонтово Белинского уезда Пензенской области. Но это... между прочим, *aparte*.

В России, где время часто оказывается бессильным перед пространством, почва, мать сыра-земля, Тверской бульвар или Заречная улица имеют несокрушимую власть над сердцем бедного поэта. В России места много: есть куда сослать и из чего выбрать. Поэтому «местных» поэтов у нас было немало. Навскидку можно сразу назвать несколько поэтических вотчин: Михайловское, Остафьево, Шахматово. Не у всех, однако, были вотчины. Зато у Владимира Соколова целый город — родной Лихославль.

Но не конкретный населенный пункт становится определяющим началом творческого пути поэта. Скорее здесь следует говорить не о месте, а о местности. Для Соколова — это срединная Россия, среднерусская полоса, прежде всего тверская земля.

В менталитете древних римлян существовал такой особый феномен — *genius loci*, то есть добрый дух, некое локальное божество, покровитель данного места. Эта привязанность и любовь к малой родине — истоки источник творческой энергии Владимира Соколова. Лейтмотив его поэзии — не посещение, не возвращение, не узнавание родных просторов, а тотальное с ними нерасставание, это не подвластное временам, не опровержимое ничем чувство абсолютной слиянности с почвой, с «гением места». Непоправимая и диковинно-необъяснимая эта неотторжимость от родственного неба, от воздуха, от рек и лесов выражена даже не в лексических значениях и не в строгости стихотворных построений, а, скорее, в слабоуловимых тонкостях и переходах грамматических времен:

Низкая впадина, речка высокая,
Ветер, шумящий отпетой осокою.
Где это было, когда это было?
Лишь бы не думать, что было да сплыло.
Что бы там ни было, как бы там ни было,
Только б не убыло, только бы прибыло.

Только наши глаза, впервые увидевшие это небо, эти три сосны на горизонте, и первый дождь, упавший с этого неба, — вся нахлынувшая на нас здешняя природа теперь уже навсегда вошла в сердца и стала единственной родиной. И так случается лишь однажды:

И воцарился мир, забвенью не подвластный,
И воцарилась даль — во славу ржи и льна...
Нам не нужны слова в любви настолько ясной,
Что ясно только то, что жизнь у нас одна.

Этот вечный тополь еще и потому неуязвим для «глагола времен», что он обладает врожденной страстью к непрерывному обновлению и перманентному возникновению:

...Гнал ветер тройку туч отставших...
Пройдя сквозь домиков ряды,
Мы с дамбы видели Осташков,
Встававший прямо из воды.
Его заборы, стены, крыши
В лучах пестрели. И рвалась
Над жестью, дранками все выше
Листва. И радовала глаз.

Есть поэты отдельных афористических строк, поэты целых стихотворений и поэты больших стихотворных масс. Владимира Соколова следует отнести к числу непосредственных поэтов. В данном случае это определение не содержит в себе оценочного характера. Автор «Снега в сентябре» более всего привержен к естественному течению жизни, пристальным наблюдениям за циклическими движениями природных явлений. В зоне его постоянных интересов самые простые и самые драгоценные человеческие чувства и пристрастия. И в своем поэтическом освоении этих феноменов В. Соколов обходится минимальными средствами и традиционными стихотворными формами, избегая и отдалённых исторических ассоциаций, и пышных мифологем, и изощренного метафорического ряда.

Поэт всегда стоит между мирами. Вот первый из них... он совсем рядом — огромный, яркий, шумный, неотвратимый. И другой, тот, который еще необходимо воссоздать в каждом стихотворении и во всех стихах, вместе взятых. О границах, разделяющих эти миры, и об их мимолетных и страстных сближениях написаны тысячи томов.

В строченных порядках нашего поэта эта «двомирность» — сквозная зеленая линия, то уходящая в глубину, в подтекст, то стремительно выступающая наружу:

Все время, вглядываясь в эти окна,
В их мировую ширь и глубину,
Я вижу, как под снегом почвы мокнут,
Как села шаг равняют на весну.

Весьма отчетливо и наглядно автор выразил этот мотив уже в одном из ранних своих поэтических опытов. На мой

взгляд, эти строки достойны того, чтобы войти в антологию шедевров русской поэзии двадцатого столетия.

Как я хочу, чтоб строчки эти
Забыли, что они слова,
А стали: небо, крыши, ветер,
Сырых бульваров дерева!

Чтоб из распахнутой страницы,
Как из открытого окна,
Раздался свет, запели птицы,
Дохла жизни глубина.

«Распахнутая страница» и «открытое окно» стали постоянными метафорами русского поэтического контекста. Справедливости ради следует заметить, что Владимир Соколов не был «открывателем» открытого окна. Его открыли когда-то авторы старинного русского романа. Как первоначальный поэтический символ оно упоминается в записках Бориса Пастернака. В. Соколов сфокусировал этот мотив, выдвинул его в центр всеобщего поэтического обозрения. Он удачно соединил два этих простых, но емких понятия и поместил их в живой поэтический раствор, придав им новый импульс и увеличив «размах крыла». Вскоре тут и там у разных поэтов, а равно и у прозаиков замелькали «распахнутые окна» и «открытые страницы»¹. Русскому образному мышлению близкородственно все широко расставленное, когда за одним «далеком» маячит еще и другое. А начиналась эта погоня за далью еще с Державина и Пушкина.

Итак, *currente calamo* мы коснулись лишь одной грани многостороннего поэтического мира Владимира Соколова. Между тем, там, за горизонтом, остается еще немало вершин и возвышенностей.

Живя «вдали от всех парнасгов», не участвуя в лихих литературных схватках и группировках, он состоялся как

¹ Упреждая возможные возражения, хочу напомнить, что первая часть романа Вениамина Каверина «Открытая книга» вышла в 1949 году. А первый сборник стихов В. Соколова «Утро в пути» — в 1953. Однако между этими явлениями нет никакой связи.

Станислав Медовников

творческая индивидуальность и сказал свое непохожее, незаемное слово. Лучшими своими стихами поэт из Лихославля оставил свою неповторимую роспись в большой книге русской поэзии.

Помимо несомненного дара и творческой воли залогом его поэтического осуществления стала верность традиции и чистая преданность той единственной в мире земле, где он был у себя дома.

НАТАШИНА ОСЕНЬ

Эти записки не претендуют на глубокие суждения о поэтическом творчестве Наталии Хаткиной, тем более, на какие-либо оценки. Не могут они также стать серьезным источником для биографии поэта. Мой маленький мемуар только о том, что я увидел и услышал непосредственно и прямо. И еще — малая толика предположений о путях творчества.

Я знал Наталию Викторовну много лет и мог наблюдать за ее поэтическим становлением и ростом творческой индивидуальности. Почти все ее поэтические книжки я прочитывал по мере их появления. Но «живьем» и воочию я видел и слышал автора «Лекарства от любви», если сопрячь все разрозненные эпизоды в одну непрерывность, всего каких-нибудь двадцать-тридцать часов. Теперь жалею и каюсь, что не зафиксировал подробно и подлинно эти драгоценные мгновения.

В яркости, размахе и органичности ее таланта сомнений никогда не возникало, равно как и в наличии творческой воли и веры в свое предназначение. Непохожесть, внезапность и случайность возникновения этого феномена в нашем климате слегка ошарашивали и располагали к размышлениям.

Уже на первых стихах Наташи Хаткиной лежал отпечаток нездешней выделки, клеймо столичности. Начало было не только превосходным, но и много превосходящим. Продолжать в поэзии всегда труднее, чем начинать. После столь блистательного дебюта перед юным дарованием открывалось множество различных направлений, и этот выбор оказался не из легких. Неопровержимо, однако, то, что автор поэмы «Лучшие годы» не отрекся от торжественных обещаний юности, не изменил своей природе.

Но нам неподвластна даль времени, мы не слышим эхо грядущих признаний. Еще слишком близок этот животво-

рящий поэтический источник, еще не остыл очаг, и кажется, что в этом доме все еще светятся многие окна, и не верится в то, что уже больше никогда...

Поэтому невозможно заключать, обобщать, анализировать, выдавать аттестат творческой зрелости и паспорт долголетия. Безусловны и неотменимы только щедрость воплощения поэтических мгновений, высокая способность выражать самые разнообразные лирические коллизии и ситуации, замечательное владение ритмом, строем, словом.

Не берусь судить о том, как отразился на ее внутреннем творческом развитии местный литературный быт. Она была первой в отсутствие вторых и третьих. Наташу не прельщало одиночество на вершине, ей не доставало тесноты поэтического ряда, соревновательного азарта.

Смею предположить, что в поэтической судьбе Натальи Хаткиной остались невзятые высоты, нерешенные задачи, непоставленные цели. Чем крупнее дарование, тем выше громада неосуществленного, тем длиннее улица несбывшихся замыслов. Слишком рано оборвана нить. Кто знает... Может быть, в другом литературном окружении возник бы и иной масштаб деяний, иная высота и скорость полета.

Наташа терпеть не могла правил, предписаний, регламентов. В ее непостижимой натуре резкая и саркастическая «отпорность», полемическая ярость, суровая «неподпускаемость» таинственным чином братались с робкой, беззащитной улыбкой, со вспышками внезапного дружелюбия.

Однажды, в начале сентября, я позвонил Наташе в библиотеку, и мы договорились о встрече. В парке было тепло и сыро. Дождь ухитрялся идти и не идти в одно и то же время. Моя собеседница казалась чем-то огорченной, взвинченной, колючей. Облако обиды никак не рассеивалось над ней. Я весь превратился в бесконечное терпение и благожелательное внимание. Но именно это и раздражало Наташу. Разговор был заинтересованным, но разгорался он, как сырые дрова, — неровно и клочковато...

И все-таки тишайший сентябрь, потемневшие, но дружелюбные деревья и снисходительное к нам небо возымели свое действие. Стало легче, проще, местами даже задушевнее. «Пора первоначальной осени» входила в душу, настраи-

вала на свой лад. Тишина не расступалась, но мне чудилось, что где-то близко звучит блюз... Дождь давно прекратился, а зонтик я успел уже потерять.

Наталья Хаткина родилась в сентябре. Осень — единственное время, когда под одним небом собираются все времена и мирно садятся в кружок. Осень собирает и уравнивает всех нас: и тех, кто еще остался, и тех, кто ушел. Осень — это возвращение.

Отныне в русской поэзии поселилась еще одна — Наташина осень.

Осень в окне остывает, как чай в стакане.
Желтую горкой сахар тает на дне.
Умные люди все это предвидят заранее.
Осень в окне остывает,
а ты — ко мне.

.....

В черный холодный омут
рыба уходит с лески,
ежик свернулся — на зиму
в листьях траншейку вырыв.
Осень блуждает по городу, словно
пустой троллейбус,
освещенный аквариум
с надписью «Без пассажиров».

НА СТУПЕНЬКАХ ПАМЯТИ

Я знал его уже немало лет. Неоднократно видел в разных ситуациях и компаниях. Иногда он выглядел необыкновенно подвижным, деятельным, неугомонным, а иной раз — тихим, задумчивым, потрясенным. Он проживал свои радости и беды на моих глазах. В такие моменты я горячо ему сочувствовал. Вероятно, возникало некое душевное совпадение. Мне казалось, что при подобном раскладе я испытывал бы точно такие же чувства.

По самой своей сути он не был героем, кумиром, предметом для восхищения или подражания. Не стал он и очередным любимцем публики, таким кудряшом-везунчиком, при одном появлении которого зрители испытывают сладостное томление и впадают в транс. Он принадлежал к тому сорту мужчин, кто с достоинством носит свою шляпу.

По роду службы ему приходилось каждый раз становиться другим, новым, незнакомым. Менялись сюжеты, коллизии, обстоятельства. Условия профессии требовали от него жертв и обязательств. Способом и поприщем его собственного проявления стали другие личности, иные судьбы, чужие сердца. Но под каким бы именем он ни предстал перед народом, всегда упрямо сохранял в себе свое неизменное и необратимое лицо. Ничего лишнего, ни шагу в сторону. Никаких бантиков и фантиков. Чтобы стать кем-то, надо оставаться самим собой.

Никому не угождая и не подмигивая, герой моих воспоминаний спокойно и твердо транслировал свои личные позывные без малейшего кокетства и заигрывания. Он являл себя честно, без ретуши и прикрас, всем, имеющим глаза и уши. Он обладал смелостью всегда оставаться таким, каким его создала природа: обыкновенным человеком невысокого роста, с невыдающейся наружностью, с немного глуховатым, неярким голосом.

Он позволял себе не уметь ни на один вершок казаться больше того облика и стати, которые были дарованы ему свыше, и оставался естественным и органичным в самых причудливых и даже нелепых ситуациях. Строгий спрос с себя, воля к постоянству и росту, наверное, и создают тот каркас творческой индивидуальности, без которого ни за что не состоится художник, мастер, артист.

Всякий раз, обращаясь ко всем нам и к Нему, герой этих заметок как бы клялся и присягал снова и снова: *Это я, Господи! Ты создал меня человеком, и я верен твоему замыслу, твоему призыву и своей собственной сути. Я исполню Твою волю и назначенный мне крест пронесу безропотно и до конца.*

Через вымышленные личины и книжные слова я научился разглядывать и различать подлинное лицо этого скромного человека и внимать его заповеди, внушаемой мне тайным, неролевым текстом: *Только так, милостивый государь, и стоит жить и быть не только самим собой, но еще и пребывать ежесекундно и вечно честным с самим собой.*

За пределами сцены, в привычной житейской суете не представилось случая для подробного разговора. И только однажды в поздний зимний вечер мы столкнулись на ступеньках, в сорока шагах от здания драматического театра. И хотя наше знакомство было шапочным, мы остановились и начали разговаривать... ни о чем — и обо всем на свете. Никакие конкретные слова не запомнились. Осталось лишь ощущение радости и теплоты... Через несколько месяцев его не стало.

О первой любви мы вспоминаем в последний момент, а последняя встреча оказывается первой разлукой навсегда. Почти каждый день по пути на работу я прохожу по этому месту нашей последней встречи, но ничего уже нельзя изменить в моей привязанности, в моей благодарной памяти. Горько сознавать, что Геннадий Васильевич Горшков уже никогда не прочтет этих признательных строчек.

ЩЕПОТКА ПАМЯТИ В ГОРСТИ

Tantum scimus,
quantum memoria tenemus
(Мы знаем столько,
сколько удерживаем в памяти)

Далекие годы могут оставаться далекими или вдруг стремительно приблизиться к нам, но люди, заронившие в наши дни добро и свет, никогда не станут далекими. Стоит только чуть-чуть приоткрыть окно воспоминаний, как хлынет поток памяти, заполняя всю душу.

Такое множество людей плывет нам навстречу в спокойном море человеческого, но лишь немногих из встреченных хочется назвать островами. Ничто не обещает нам этих встреч, и никто не может знать, когда и где произойдет подобная встреча.

Слава Богу, жизнь широка и неоглядна и бывает порой милосердна к нам.

Итак, начиналась ранняя осень, а на улицах и площадях весело шумели теперь хорошо уже позабытые 60-е годы. Однажды в аудиторию, где еще не вполне освоились студенты-первокурсники Донецкого пединститута, как-то неожиданно для всех вошел новый преподаватель.

Принято считать, что первое впечатление не только самое сильное, но и самое верное. Правильно принято. У каждого человека десятки очевидно-зримых признаков, примет, качеств. Однако любой, самый изощренный писатель сможет назвать не больше трех-четырех. Человека нельзя подробно описать как конструкцию, можно только мгновенно «схватить» нерв, суть, ядро.

Перепрыгивая через десятилетия, напрягая память, могу засвидетельствовать только то, что во всем облике

нашей героини — Инны Григорьевны Гениной — во всех ее формах, линиях и объемах, всюду — «от гребенок до ног» — сквозило изящество, а каждая отдельная черта была доведена до полноты, так что везде царила безупречность, граничащая с совершенством. А когда началась лекция и на лице Инны Григорьевны появилась улыбка, — стало очевидным еще одно достоинство нашего лектора — гармония глаз и голоса. А глаза были синие-синие. Вот так и началось наше знакомство с зарубежной литературой. Преподавателя этой дисциплины мы приняли сразу и полюбили навсегда.

При всем при том всегда безоблачного неба и сплошь голубой расподии, разумеется, не было. Аудиторию наполнял довольно пестрый, разновеликий и разновозрастный студенческий народ. В те годы, в эпоху первых джинсов и бутылочно-го кефира, в академических группах преобладали «стажники», молодые люди и барышни из окраин и из захолустий, успевшие потрудиться на стройках и фабриках, послужить в армии, приобрести житейский опыт. Кое-кто из них впервые услышал об Эсхиле и Софокле, о Данте и Петрарке. Один мой сокурсник приходил на занятия в солдатской гимнастерке, в галифе и кирзовых сапогах, а в перерывах между лекциями скручивал *козью ножку* и жадно курил махорку в укромном углу. Одним лишь обаянием невозможно покорить студенческую вольницу, ее следовало еще приручить, заинтересовать и вместе с нею подниматься к вершине мировой литературы.

Надобно заметить, что в наше время между студентами и преподавателями вузов нет такой большой интеллектуальной дистанции, какая имела место тогда. По-настоящему учить чему-либо можно только и исключительно «своих» студентов.

Ерго, прежде всего их необходимо сделать «своими». Вот этот процесс «освоения» и совершался на моих глазах. Льщу себя надеждой, что хорошо усвоил этот дополнительный урок, столь внятно преподанный Инной Григорьевной.

В свою очередь, и преподаватель стала «нашим» доверительным другом и наставником. Студенты тянулись к Инне Григорьевне, приходили поделиться с ней своими радостями и бедами. Девушки старались подражать ей в одежде, в манерах, поведении, даже в интонациях.

Некоторое время Инна Григорьевна руководила литературной студией при филфаке. Немного собиралось волонтеров, зато были подлинные любители, ушлые знатоки. Сочиняли и декламировали стихи, пробовали писать рецензии и разборы, устраивали конкурсы. Выпустили два рукописных стихотворных альманаха. Инна Григорьевна вступала в диалог, советовала и советовалась, не была слишком категоричной, хотя иной раз могла сделать и волевой жест, настоять на своем.

Кстати сказать, во всевозможных спорах, в полемической стихии эта вполне застенчивая женщина держалась легко, иногда даже дерзко, раскованно, умела подать меткую реплику, мгновенно представить веский довод, отыскать убойный аргумент, была способна сразить, «срезать». Подчас входила в азарт, у нее горели глаза, но никогда она не переступала границ толерантности и светских приличий. И это касается не только студенческой среды, но и более солидных и продвинутых собраний.

Из достоверных источников известно, что в детстве и юности Инна Генина была причастна к лирическому волнению и поэтическим опытам. Однако, будучи уже в ранге преподавателя, она никогда не касалась этого предмета.

Тем не менее, ее принадлежность к миру поэзии, в самом обширном понимании этой категории, настолько очевидна, что никакая доказательность не требуется.

Мне не довелось ни раньше, ни позже встретить другого человека с такими же огромными познаниями в истории поэзии всех времен и народов, какими обладала Инна Григорьевна. К этому необходимо прибавить еще и изысканный вкус, способность к тонкому различению самых разных оттенков поэтических ассоциаций. Этим своим даром Инна Григорьевна щедро и бескорыстно делилась со всеми, в том числе и с малой поэтической искрой. Здесь мне придется сослаться на собственную практику: к стихам Пастернака и Цветаевой я приобщился благодаря Инне Григорьевне. Вероятно, стоит напомнить о том, что в те давние годы сборники стихотворений названных поэтов были абсолютно недоступны простым смертным. К невероятной моей удаче, эти вождельные книги «оказались» в библиотеке нашей героини, но об этом я скажу чуть позже.

Помимо научных докладов и исследований, в 50-е и 60-е годы Инна Григорьевна Генина активно публиковала в местных газетах и журналах многочисленные рецензии, обзоры, статьи о поэзии и о поэтах, классиках и современниках.

Однажды Инна Григорьевна, как бы между прочим, обмолвилась о том, что на заре туманной юности мечтала об артистической карьере. Служительницей Мельпомены она не стала, зато любовь к театру, склонность к театральности пронесла через всю жизнь. Инна Григорьевна определенно примыкала к той когорте тонко чувствующих и внутренне богатых людей, которые нередко оказываются на грани мучительного выбора. С одной стороны, человека одолевает страсть к высказыванию, жажда представительства, ибо нельзя чувства и мысли, переполняющие душу, вечно держать взаперти. Но природная скромность и нравственная брезгливость удержали ее от участия в тех предприятиях, которые по самым разным причинам казались сомнительными.

Казалось бы, у вузовского преподавателя есть чуть ли не круглосуточная площадка для ораторских упражнений. Между тем, для любого лектора совершенно очевидна разница между академической группой и широкой публикой. Это случалось нечасто. И все же иногда Инна Григорьевна выступала с публичным чтением стихов. Например, в Доме работников культуры. Несколько раз я становился прилежным и признательным слушателем этих чтений.

Как известно, у поэзии есть следователи и исследователи. Но, наверное, самым безошибочным критерием, выясняющим и измеряющим «глубину впадения» в поэзию, становится громкое и непосредственное воспроизведение стихов.

Очень проникновенно и в то же время как-то наглядно, выпукло звучали в ее исполнении строки Лермонтова и Баратынского, Блока и Цветаевой, Франсуа Вийона и Беранже, Байрона и Гейне. Наша героиня склонялась к броской, артистической манере декламации. Нередко знакомые стихи открывались вдруг своими новыми и неожиданными смыслами. Иногда мне казалось, что сквозь классический текст проступает, выходит наружу исповедь нашей современницы.

Невозможно не сказать еще об одном увлечении Инны Григорьевны, о главном ее богатстве и гордости. Будем помнить о том, что несколько десятилетий тому назад книги, подобно святыням, занимали самое видное место в квартире каждой интеллигентной семьи. Но я должен признаться, что более уютной, удобной для пользования и, я бы даже сказал, красивой домашней библиотеки я не видел больше нигде. Подбор и расстановка книг многое могли бы рассказать о владельце библиотеки, о ее вкусах, образе мыслей и пристрастиях. Были там и такие книги, о существовании которых я даже и не подозревал. И очень многие из тех, что я хотел бы непременно прочесть, но не мог по причине их отсутствия. Спасибо этой библиотеке и ее хозяйке за то, что я успел познакомиться с некоторыми изданиями именно в те сроки, когда моя душа и мой ум были более всего расположены к их восприятию. Как сказал Виктор Шкловский, не только человек собирает книги, но и сами книги со своей стороны тоже собирают человека.

На страницах своего знаменитого дневника Лев Толстой сокрушался по поводу того, что для подробного изложения истории одного обычного дня жизни самого обыкновенного человека надо потратить несколько недель, а то и месяцев напряженного труда. Если это так, даже малую толлику жизнеописания замечательной и необыкновенной женщины не вместит в себя не только малополосная газета, но и толстая и пухлая, как перина, английская «Times».

Я рассказываю только о том, что сам видел и слышал, что хорошо знал, в чем был уверен досконально. Еще о многом я догадывался и предполагал. Но все это осталось в черновиках и архивах памяти, за пределами этого маленького очерка. Я не делаю обобщений и заключений, не выставляю оценок и не подвожу итогов.

Инна Григорьевна жила на солнечной стороне улицы не потому, что смотрела на мир сквозь розовые очки, а лишь потому, что была светлым человеком, и многим людям становилось тепло от ее улыбки, от доброго света ее глаз, от ее чарующего голоса, от сердечного участия.

Память для того и дана нам, чтобы в ней продолжали жить те, кто нам дорог.

УЛИЦА ТУРЛЯНСКОГО

Город не чужой, если в нем живет хотя бы один твой знакомый, а если тебе приглянулась целая улица, считай этот город уже своим.

Старинное изречение.

Этот небольшой проулок в самом центре города укрыт со всех сторон деревьями и домами таким образом, что как бы целиком исчезает из городского пространства. И мало кто, даже из близживущих, догадывается о его существовании. Однажды я обнаружил его совсем неожиданно, гуляя с собакой. Теперь я называю этот проход улицей Турлянского. На этой улице всего два дома, и оба они с одной стороны. Присмотритесь: крайнее со стороны трамвайных путей окно на первом этаже одного из этих домов. Здесь и жил в былое время Константин Турлянский. Но мне кажется, что и сейчас кто-то смотрит на меня в это окно, когда я прохожу мимо.

Никто и никогда, кроме меня, эту улицу так не называл и даже не считал эту территорию улицей. Да и с какой стати! Не было у Кости ни чинов, ни званий, ни больших должностей, ни собраний сочинений. И на этой улице, и в целом городе о нем никто ничего не помнит и знать не хочет. Еще бы! Столько кругом академиков, почетных председателей и директоров, лауреатов и народных артистов. Даже как-то неловко начинать разговор о таком незаметном, незнатном, незначительном человеке.

Есть, однако, нечто такое, что оказывается бесконечно выше всех пестрых знаков отличий и наград, разного рода предметных достижений и заслуг. Это «нечто» мудро определить, сложно вычислить. На него нельзя указать пальцем. Можно назвать этот феномен щедростью натуры,

цельностью и обаянием личности, харизмой или богатством и широтой души.

Рядовой, стоящий в самом низу на лестнице социальной иерархии человек может обладать такими уникальными качествами, такими редкими достоинствами, какие невозможно измерить в каких-либо единицах и документально зафиксировать. Эти особенные качества, яркие нетривиальные черты человеческого характера не приобретаются ни воспитанием, ни учеными занятиями, ни депутатским мандатом. Тайна их появления велика и непостижима.

Константин Турлянский происходил из той весьма редкой породы людей, которые ни в малой степени не озабочены тем, как они выглядят в глазах других, что о них думают эти другие и что говорят. Он никогда ни о чем не просил, не искал участия или сочувствия, не хотел понравиться или произвести впечатление. В нем, как ни странно это прозвучит, было что-то и от Печорина, и от Базарова одновременно.

Во многом мы были с ним антиподами, вечно спорили, решительно расходились во мнениях, иногда Костя становился просто невыносимым. Тем не менее, мы продолжали встречаться, что-то нас подталкивало друг к другу. Нас объединял интерес к театру. Впрочем, что касается Кости, то это был, конечно, не интерес, а огромное влечение, переходящее в страсть. Время от времени он принимал участие в любительских спектаклях в качестве актера и режиссера, писал рецензии на новые постановки, сочинял пьесы. Но все-таки он находился где-то около театра, а не в гуще событий. Вероятно, это и вызывало в нем ревность к тем, кто был занят в театре непосредственно. Костя обладал исключительным театральным слухом, тонко понимал и различал все оттенки и припетии сценического искусства.

В нашем городе театров совсем немного. Мы ходили на все премьеры и часто смотрели спектакли вместе. Но сидеть рядом с Костей в зрительном зале все равно, что войти в клетку с тигром: и любопытно, и боязно. С какого-то момента мое внимание начинало раздваиваться. Как-никак, надо успевать следить за тем, что происходит на сцене, однако и за Костей тоже необходимо присматривать. Второй спектакль иной раз мог стать круче первого. Костя безошибоч-

но ощущал любую фальшь, всякий наигрыш, нутром чуял чес, подделку, плоскую игру и пошлое комикование. Все эти переполохи и негоразды не только польхали на Костином лице, но и вызывали в нем мощные двигательные и звуковые рефлексы. Шикание и ропот соседей, хлопоты дежурных администраторов... — это еще цветочки. Костя мог и совсем уж... повернуться к сцене спиной. До конной милиции, правда, дело не доходило, но выводы делались: буквально из зрительного зала — прямо на улицу. Признаюсь честно, что своими глазами я таких эксцессов не видал. Между тем, театральная молва исправно передавала эту информацию.

Случался, однако, и мажор. Тогда, во времена высокого застоя, местные театралы как свежего дуновения, как откровения ждали театрално-гастрольного лета. Ежегодно к нам приезжали два-три иногородних театра, и за последние 30 лет советской эпохи десятки самых разных драматических и музыкальных театров со всех сторон самой великой в мире страны доносили до нашего города высокое искусство Мельпомены. Назову только крупные театральные центры: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Львов, Одесса, Рига, Таллинн, Минск, Брест, Ташкент, Ереван, Караганда, Свердловск, Саратов, Воронеж, Архангельск, Тамбов, Калуга, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Катовице (Польша).

Однажды в июне как-то вдруг неожиданно-негаданно нагрянул к нам удивительный театр из далекого Иркутска. Русский театр, русская сценическая речь... Было, однако, в этих актерах, в воздухе, который они привезли с собой, что-то свежее, чудное, неведомое нам раньше. Многожды виденная до того шекспировская трагедия о влюбленных возбудила и вдохновила нас настолько, что в эту летнюю ночь мы не спали. Отыгравшие актеры, постановщики спектакля и с десятков театральных полуночников все вместе хорошо посидели в тесном полуподвальном помещении театрального общества и проговорили несколько часов кряду за красным вином и черным кофе. Какой же это был праздник для Кости, какой фурор он пережил, как блистал на этой скромной вечеринке! Все-таки это совершенно особое состояние — застать и обложить актеров «тепленькими», еще не остывшими после «боя» и всю ночь испытывать их задушевно-театральными

Станислав Медовников

беседами, провозглашением тостов и здравиц. Ощущение было такое, что сам Шекспир витает где-то рядом.

В наших разговорах мы почти не касались быта, денег, мужских привычек. О повседневной его жизни я мало что знал. Какое-то время Костя служил в пожарной охране. Были и другие записи в его трудовой книжке. В свое время он кончил филфак в Ростове, делал пробы в разных форматах письменности. Со стороны казалось, что он жил вроде как боком, словно женился не на той женщине.

Театр и только театр занимал все пространство его души. Призвание и специализация Константина Турлянского — дежурный по театру. Пусть он и не выходил каждый вечер на подиум. Он носил театр в себе, не расставаясь с ним ни на час. Театр стал для него смыслом, образом, предметом обожания. Как жалко, что театр не сделался для него прищипом, родным домом.

Из пьесы жизни моего горячего собеседника я что-то еще узнаю, домысливаю, но многое остается для меня тайной. Он уехал внезапно, даже не успев попрощаться. И там, вдали, за границей, за гранью того мира, где он был у себя дома, упал занавес и навсегда скрыл его от нас. Зал оказался пустым, и аплодисментов не последовало. Его истовое и бескорыстное служение театру достойно нашей памяти.

А одинокое теперь окно в том доме, в котором он жил, все еще смотрит на опустевший мир и преданно ждет своего друга.

ВОСПОМИНАНИЕ

Она каталась на велосипеде как-то неумело и неуклюже и в то же время очень лихо и азартно. Впрочем, уже стемнело, улица была пустынна, но я всегда догадывался о ее приближении. Переднее колесо вихляло во все стороны... Она буквально падала в мои объятия. Я и до сих пор не понимаю, куда же исчезал велосипед.

У нее были неправдоподобно светлые волосы, а в настезь распахнутых глазах весь мир становился зеленым, как майские березы. И так в любое время года.

У нее все делалось легко: легко и весело стучали каблучки, белели, как парус одинокий, ее пепельные волосы, так же легко и пулеметно быстро она говорила, чуть картавя и пришепетывая, а голос звенел, взлетал и забирался в какие-то уже совсем неведомые пределы. Она ничего не утаивала, не откладывала на потом, все говорила залпом, тут же немножко плакала, но, спустя мгновение, снова превращалась в юную, свежую, шестнадцатилетнюю девочку. Ей было уже чуть больше, но это не имело никакого значения. Значение имел только апрель, нескончаемый апрель. Он не проходил, пока она была рядом.

На берегу моря она оборачивалась парусом и совершенно не одиноким — народ окружал ее отовсюду. Но даже за стеной загорелых спин я различал травяную зелень ее глаз и встречал ее взгляд с любой точки и со всех сторон. Глаза рвались ко мне, так что я начинал опасаться за ее зрение.

На день рождения моя нежная подруга подарила мне немислимо смешного зайца. Он нелепо подпрыгивал и изо всех сил бил в литавры, всегда приводя нас в состояние хохота.

Ночами, взявшись за руки, напропалую бродили по улицам, наугад шли в любом направлении, и город легко расступался перед нами, дружески нас берег и укрывал. Он был тогда совсем еще юным.

Станислав Медовников

Мы жили в крохотной комнатухе в доме рядом с пожарным депо. Когда утром выходили из дверей, голуби всех цветов и оттенков невесть откуда слетались к нам в огромном количестве.

Только через многие годы, случайно побывав в этих местах, я узнал, что мы жили на улице Щорса. Да, это было. Моя милая девушка работала в ателье, что было близко, на Университетской, а я — в шахте. А еще мы учились в вечерней школе. Но об этом память не сохранила никаких подробностей. Да и как можно. Повсюду и исключительно была она, одна она, моя возлюбленная. На дворе стояло чудесное время. И теперь я не помню уже точно: во сне это было или наяву. Я несу ее на руках по длинному-длинному ряду мимо домов, флагов, цветов, а вокруг шары, синие и красные, и великое множество шумящего и смеющегося народа.

А потом я ее потерял. Никогда больше, даже отдаленно, даже намеком не увидел никого, кто бы мог с нею сравниться. Ее звали Вера Кроль.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

3

ФРАЗЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ

5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Звезды долго живут...	46
За Окой, за лесами сплошными...	47
Вода присела на ступени...	48
На крутом повороте мечты...	49
Я сегодня доверчивей стал...	50
От многих бед меня спасала память...	51
Рано утром дрогнуло окно...	52
Что-то серое, синее, красное, черное...	53
Искусство встреч и расставаний...	54
Белая лошадь танцует вальс-бостон...	55
Я чувства удержу в одной горсти...	56
На берегу, где ты вчера стояла...	57
Шумит вечерняя вода...	58
Каждое пятое дерево желтое...	59
На сгибах эпохи пылинки дорог...	60
Я не знаю, когда я уйду...	61
По всем направлениям и адресам...	62
Ноябрьский вальс	63
А утро уже рассыпалось в лучах...	64
Влюбленные женщины, совсем как пони...	65
Непреклонный гений утра...	66
Господь — залог, судьба, как синтаксис...	67
Ошибки сна стирая губкой...	68
И стало тесно августу уже...	69
Был вечер, ты и я...	70

Живя в окрестностях мечты...	71
Ты впадаешь в меня, как река...	72
Ночь вырастает, как трава...	73
Мое терпение до края...	74
Совсем немного, ничего...	75
Рассыпано мелко осеннее золото...	76
Из чаши сна испей и из копытца...	77
Пусть этот день, укрытый, как листок...	78
Я в зеркало смотрю...	79
Еще зимы остатки и обноски...	80
Среди полей проходит просека...	81
Бессчётных звезд туманный протокол...	82
Два ясеня, два берега, два Гоголя...	83
Легко по ступенькам спускается гром...	84
Весна. Выходит из подвалов плесень...	85
Тропинка около воды, от церкви...	86
За убегающей станицей...	87
Об этом шумели всю ночь тополя...	88
Меня нежно до ворот...	89
Косое солнце, от метафоры...	90
Громада туч спускалась на громаду...	91

КОФЕЙНАЯ ГУЩА

93

МУЗЫКА

107

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

116

ЗАМЕТКИ И СТАТЬИ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ	164
ШУМ СЛОВАРЯ	172
ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР	172
ВОСТОЧНАЯ ПРИТЧА	173
ОНА	173
КОНАКОВСКИЙ БОР	174

МЕЛЬПОМЕНА

ОБ АКТЕРЕ И ПОЭТЕ	178
МЕЖДУ ПОДИУМОМ И СЦЕНОЙ	181
В ПЬЕСЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ... ..	186
ЗАПИСКИ ИЗ ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ЗАЛА	189

БЛИЖНЯЯ ПРИСТАНЬ

СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДЫ ЮРГИСА БАЛТРУШАЙТИСА.....	194
ТРИ ИСПИСАННЫХ ЛИСТОЧКА	197
ПОЧВА И СУДЬБА ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА	200
НАТАШИНА ОСЕНЬ	205
НА СТУПЕНЬКАХ ПАМЯТИ.....	208
ЩЕПОТКА ПАМЯТИ В ГОРСТИ.....	210
УЛИЦА ТУРЛЯНСКОГО	215
ВОСПОМИНАНИЕ	219

Художественное издание

Станислав Медовников

НЕЧЕТНЫЕ ДНИ

*Автор признателен Наталии и Марине Коротких
за помощь в составлении книги.*

Подписано к печати 2.02.2011 г.
Формат 60х84/32. Бумага офсетная.
Гарнитура *Newton C. Печать* лазерная.
Тираж 100 экз.

Издательский дом “Норд-Пресс”.
Тел.: 8 (062) 304-56-96.
Свидетельство о регистрации:
ДК № 839 от 1.03. 2002 г.